

рисунок, живопись, скульптура, архитектура, композиция, история искусств

# ЖУРНАЛ

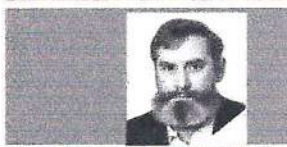
№ 13

2003

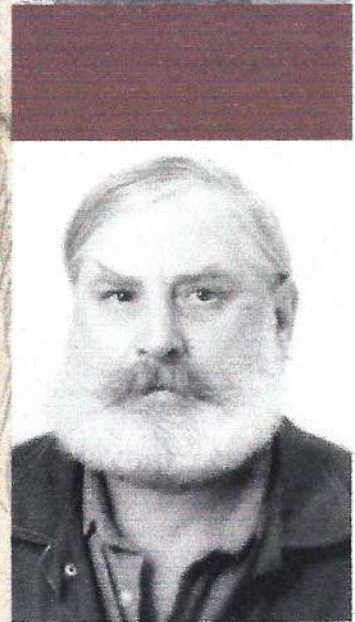
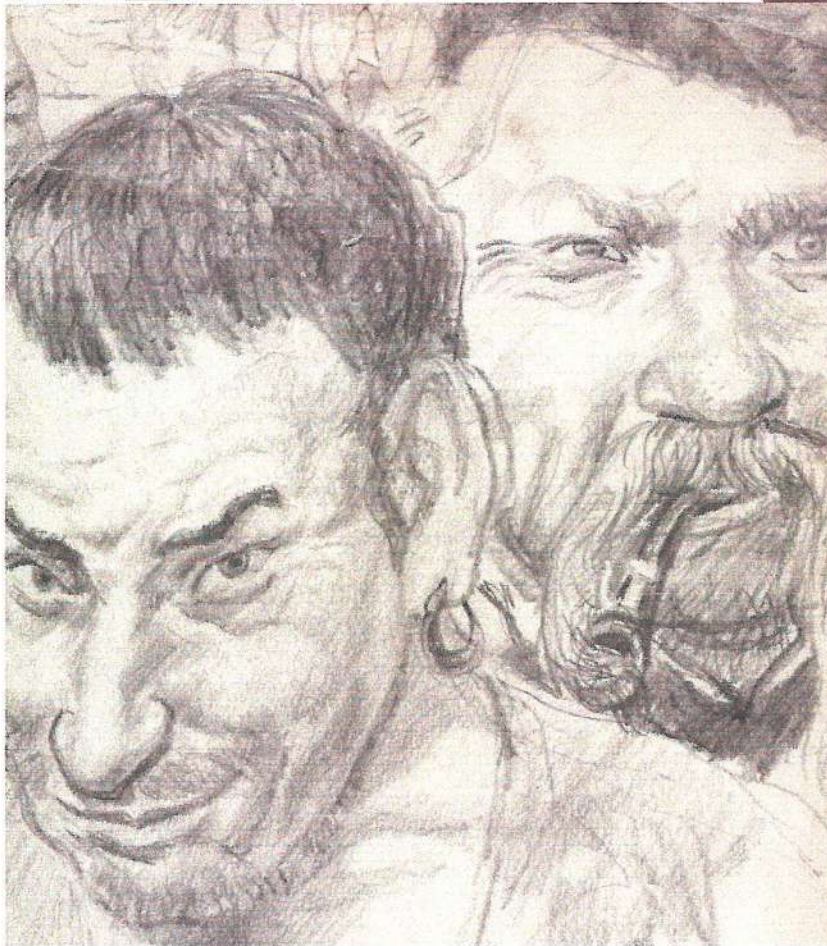
Московского Академического Художественного Лицея  
Российской Академии Художеств

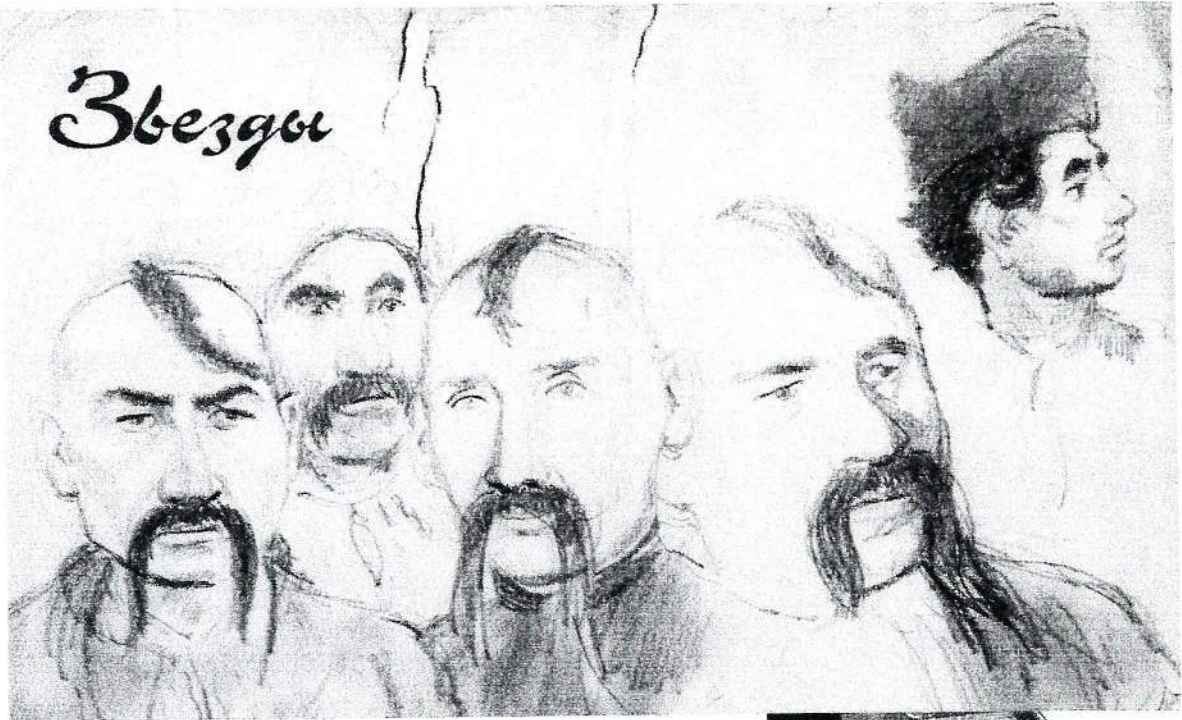


Москва

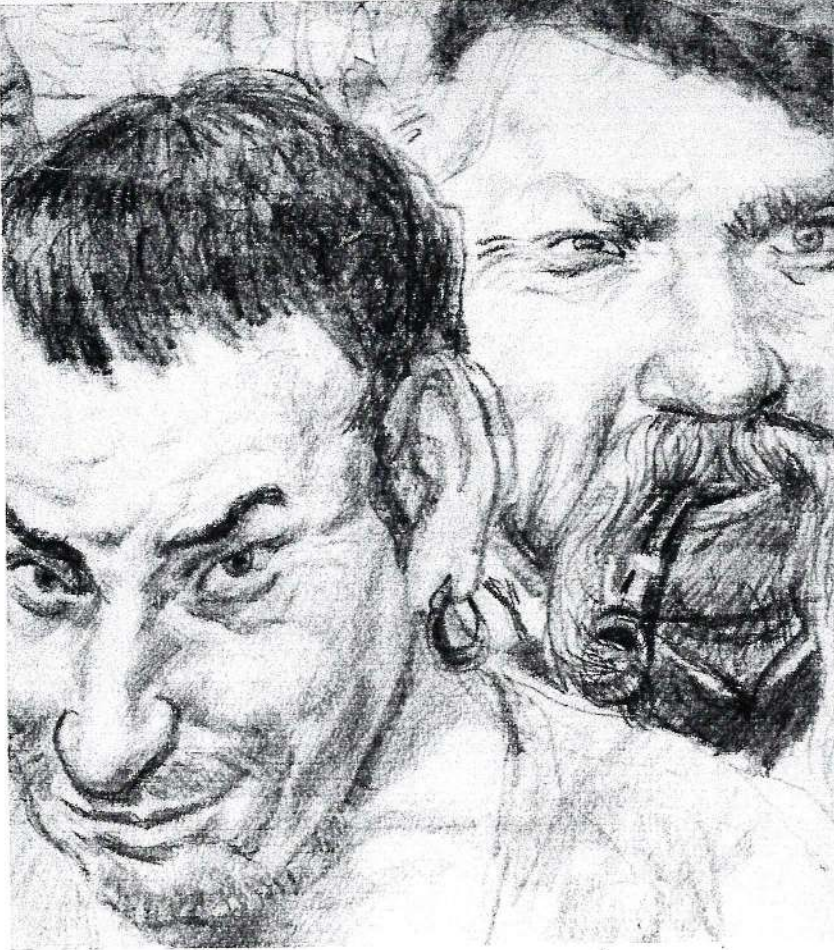


Годин  
Игорь Михайлович  
(1926-2002)





Годин  
Игорь Михайлович  
(1926-2002)



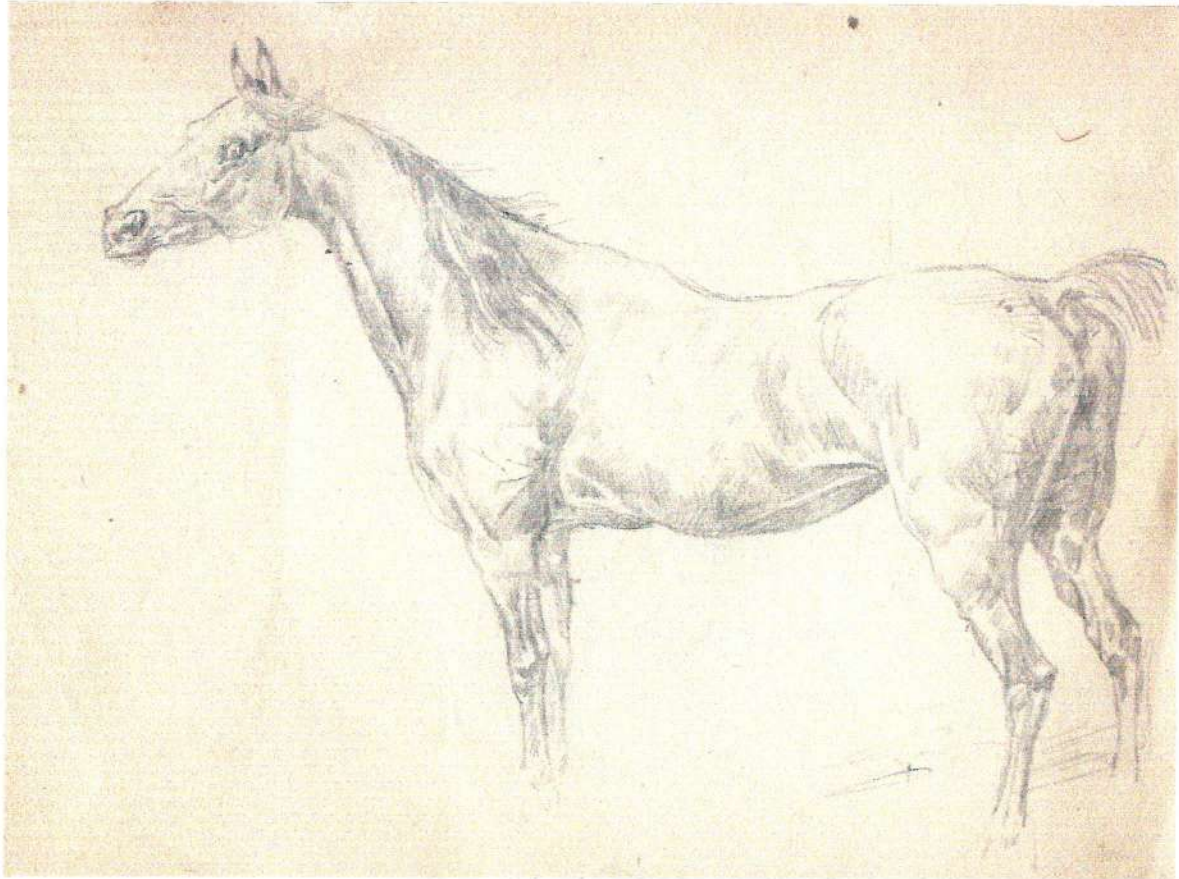
Small vertical text on the right edge of the page, likely a copyright notice or credit line.

*Игорь Годин.*



После состоявшейся в самом начале 2003 года и вызвавшей большой интерес посмертной выставки моего товарища и одноклассника по Московской художественной школе Игоря Година, хотелось бы коротко поделиться воспоминаниями и мыслями о нем и его творчестве. Очень давно, еще в 1939 году, в одном из первых номеров издаваемого тогда журнала “Юный художник”, я увидел его рисунок - иллюстрацию к басне И.А. Крылова. И был поражен, узнав, что автор этого рисунка 12-летний школьник. Позже,





поступив в художественную школу, я попал в одну группу с ним. Уже тогда И. Годин выделялся мастерством рисовальщика и композитора. Работы его были далеко не ученического уровня. Потом грянула война. Школу эвакуировали в Башкирию, в старинное русское село Воскресенское. Там, в экстремальнейших условиях того времени проявился в полной мере талант Игоря, сформировалось творческое его лицо, которое, практически без изменений, он сохранил до конца дней своих. Не буду разбирать и анализировать

работы того периода, их надо видеть. Могу только сказать, что в нашей среде появился законченный профессионал, мастерству которого мог бы позавидовать любой художник высокого класса, но это факт. К сожалению, как выяснилось позже, в этом и заключалась трагедия И. Година. Он перешагнул свое время. И пока мы, его сверстники, под руководством педагогов, как и положено, двигались от простого к сложному, для И. Година этот процесс был чуждым и малоинтересным. Я не помню его учебных постановок. По-моему, он их



игнорировал. Но великолепные карандашные наброски, особенно лошадей и другой живности, замечательные акварельные пейзажи и, конечно же, композиции - до сих пор (а сколько лет прошло!) остаются в памяти. Игорь, как и все мы, был увлечен исторической темой. Село Воскресенское являлось в XVIII веке одним из центров Пугачевского восстания. Рисунки И. Година, посвященные истории, не были скороспелыми почеркушками, а являлись хорошо продуманными, пластически выверенными,



добротными по качеству эскизами, на основе которых можно было вполне создавать станковые картины. Жаль, многие из этих эскизов утрачены в периоды так называемого “реформирования” школы, а то и просто расхищены из методического фонда.

Можно с уверенностью утверждать, что Игорь Годин – феномен, явление уникальное и необъяснимое, подобно Моцарту, который, как известно, чуть ли не в младенчестве сочинял и исполнял



самые сложные музыкальные произведения. Игорь Годин был не просто талант, или, как говорят, вундеркинд (на своем веку я повидал их немало). Нет, это нечто более значительное. Здесь нужно отметить роль педагогов в нашей жизни. Они, помимо учебно-воспитательных функций, заменяли нам в те тяжелые годы родных и близких.

Отлично знали свое дело - методику преподавания. Но ничего не могли дать И. Годину. Нужно было найти какой-то иной, нестандартный подход. Какой? Трудно ответить. Но он не был найден.

Игорь Годин понимал исключительность своего положения. Однако по легкомыслию и молодости лет злоупотреблял им. Например, категорически не желал учиться, являя тем самым пагубный пример другим. Это привело к тому, что Игоря в 1944 году исключили из школы. Незамедлительно последовал призыв в армию. Фронт, ранение и контузия не сломили его. Через восемь лет (за такой срок любой супервундеркинд перестал бы существовать как художник) Игорь снова вернулся к искусству. И стал ведущим художником издательства



“Детгиз”. Книги с его рисунками пользовались огромной популярностью, их коллекционировали bibliофилы, а многие писатели просили издательство, чтобы их произведения иллюстрировал именно И. Годин. Или другой факт. Готовилось юбилейное издание романа М. Горького “Мать”. Поговорили с И. Годиным и чуть ли не силой навязали ему эту почетную и ответственную работу. А ведь в это же время во всю свою мощь творили такие выдающиеся графики, как Дементий Шмаринов, Евгений Кибрик, Орест

Верейский. Лишний раз это подтверждает авторитет, которым пользовалось у истинных ценителей искусство бывшего ученика Московской средней художественной школы.

После посмертной выставки, явившейся отчетом о всем творческом пути И. Година, стало ясно, что это блестящий мастер книжной графики, равного которому, пожалуй, на сегодняшний день и не найти. Стало очевидным и другое: иллюстрирование книг, нисколько не умаляя значения книжной графики, было для такого могучего дарования





скорее жизненно-материальной необходимостью, нежели основным стимулом деятельности.

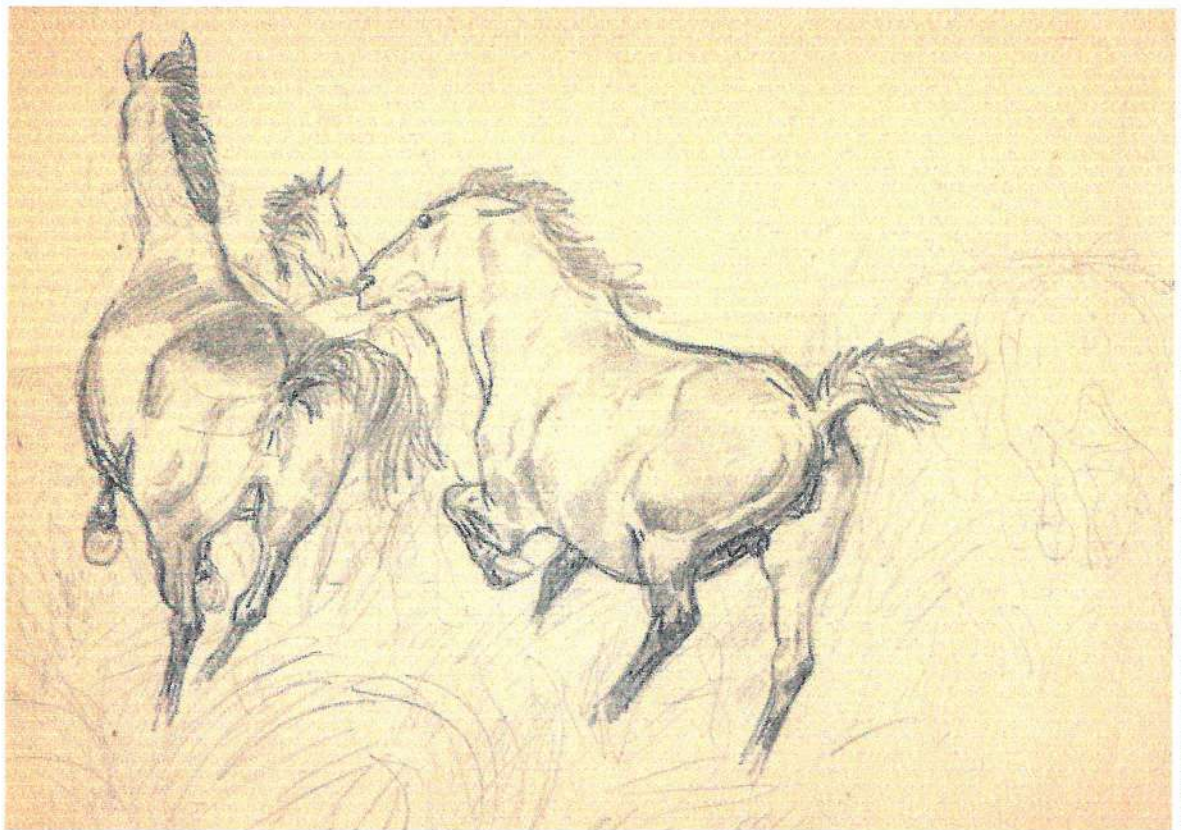
В последние годы мы редко встречались. Но однажды, в приватной беседе, Игорь сказал, что хочет и давно мечтает написать картину. Это неудивительно - все годы, со школьной скамьи, он мыслил категориями искусства станковой картины, готовил себя к созданию серьезного по мысли и художественным качествам произведения. Планам этим, увы, не суждено было осуществиться, причин тут предостаточно, не стоит говорить

об этом. Но, повторяю, приходится удивляться неистовой работоспособности художника.

Когда он успел, несмотря на все несуразности жизни, выполнить такое количество работ! На выставке экспонировалась лишь малая часть его творческого наследия. Вызывает также чувство досады, что имя этого самобытного мастера никогда не упоминалось в печати, искусствоведческих обзорных статья. Он не имел никаких почетных званий, наград и персональных выставок. Мало того, Игоря долгие годы не хотели принимать в творческий союз.



Что это? Зависть или что-то другое?..





*Игорь Годин*

Очевидным сегодня является важность популяризации творчества И. Година, издание монографии о нем, альбома произведений. Он заслуживает этого более, чем кто-либо другой. Разве можно допустить, чтобы такое богатство (я несколько не преувеличиваю, заявляя это) осело в семейном архиве и не сделалось бы достоянием всей нашей культуры!

*Л. С. Котляров,  
заслуженный художник  
Российской Федерации,  
лауреат Государственной  
премии.*





Аврутис  
Хаим  
Авраамович

*Записки о  
школе*

Война застала меня в момент, когда я закончил первый класс СХШ и перешел во второй. Весь первый, предвоенный год пребывания в школе я помню отрывочно.

Общеобразовательные предметы вели у нас: русский язык – Эсфирь Юльевна Донская, историю – Стрельцов (не помню имени-отчества) – замечательный учитель, пристрастивший меня к истории – она была любимым предметом, ею увлекались в тот год почти все, особенно Павлик Бунин и я; еще помню учительницу географии, крупную дебелую женщину, говорившую с белорусским акцентом.

Немецкий язык у нас вела безответная и слабохарактерная учительница. Шум на уроках стоял такой, что мы с Мишей Никоновым, моим соседом по парте, во весь голос распевали песни, и нас не было слышно!

На занятиях по искусству класс делился на две группы. В нашей занятия вела Наталья Викторовна Бушкевич. Ничего из занятий не помню. Для образца нам показывали работы ребят постарше: какие-то многофигурные акварельные композиции с окопами, взрывами, кавалерийскими атаками – было тогда повальное увлечение Грековым. Водили нас зачем-то на обувную фабрику (вон еще когда “модоровщина” начиналась), заставляли потом рисовать по памяти.

Помню какую-то бурную теоретическую дискуссию в школьном зале. Спор шел, кажется, о свободе творчества, о праве ученика на самостоятельность. Учителя возражали. Очень убедительно и деликатно спорил с ними Виктор Иванов. Потряс наше, малышей, воображение школьный гений – Шинкарев, огромный, как тогда показалось, похожий на питекантропа мужик в болотных сапогах. (Я потом встречал его в Сибири спившегося, опустившегося и совсем не страшного. У него, кажется, сохла рука – результат не то фронта, не то тюрьмы.)

Помню рослого, толстого кабардинца Сундукова; длинного, нескладного Трифонова (его любимым художником был Моор); ласкового, красивого армянина Мусаэляна (он стал личным фотографом Брежнева). В эвакуацию они с нами не попали и пропали из виду.

Из ребят постарше помню Ливу (Ливий) Щипачева. Он тогда только что отснялся в фильме Кулешова “Тимур и его команда”, был школьной знаменитостью: хорошенький мальчик с белыми от перекиси водорода волосами. Старшие очень баловали его, как и Гуська (С. Гусева), как и “Попишку” (И. Попова), тогда крохотного кудрявого мальчугана. Бывало, только кто-нибудь из них войдет в библиотеку, как сейчас же попадает в объятия старшеклассников. Начинается возня, щекотка, смех. Екатерина Павловна Малиновская, библиотекарь, урезонивает шалунов.

В нашем классе учились: Боря Крюков, тихий, болезненный мальчик; Андрюша Тутунов, уже тогда, кажется, получивший прозвище “Пташка”; Женя

Аблин (пухленький, рыженький, он после аппендицита все прятался, боялся наших шумных игр; прозвище его было “Детка”), Игорь Мануйлов, Коля Бесфамильный. Наконец, Сережа Гусев (он жил, как и другие иногородние, в интернате на первом этаже), самый, по-



Женя Аблин.

моему, талантливый: я помню, с каким восхищением и, может быть, завистью смотрели мы на его рисунки, сделанные тончайшей линией (львы в зоопарке), сочные акварели, которые он писал на близлежащих московских двориках.

Я не завидовал, так как художником быть не собирался, а мечтал о карьере путешественника, зоолога, исследователя. Единственное, что мне нравилось в занятиях искусством – это рисование в зоопарке. Был я маленький, меньше меня был только Гусев (“Гусек”, “Сверчок”).

Так прошел мой первый учебный год. Привыкший еще в начальной школе к славе первого ученика и коновода, я чувствовал себя неуверенно в школе, где единственным твердым основанием для

всеобщего уважения были успехи в искусстве. Я был очень далек от этих успехов, еле на тройки вытягивал, на школьных выставках не участвовал.

Началась война; мы, малыши, да и не только малыши, не поняли масштабов и значения этого события, и когда нас собрали для



Клара Власова



Коля Бесфамильный.



Г. Ходыкин. Стерлитамак, 1941 г.

совместной поездки в Башкирию, мы и вправду поверили, что предстоит обычный пионерский лагерь. Родители плакали – что ж, мамы всегда

плачут.

Жесткие пассажирские вагоны: помню Колпо Терещенко и Ваню Кускова; себя и Борю Крюкова у раскрытого окна; солнце, ветер. Неизвестно было, куда мы едем все дальше, все дальше. Когда же остановка? Нам строго наказали не произносить слово “эвакуация” (мы вряд ли его и понимали), чтобы не вызвать паники у встречного населения; пионерский лагерь – вот и все.

За Уфой на станции Дема нас погрузили в товарные теплушки с нарами. Запомнились мне тогда Кобозев и Винокур: все шептались в уголке по

поводу девочек – Таси Скородумовой и Лоры Рыбченковой. Мы были на год моложе Руслана и Володи, и нас эти “вольные” разговоры ужасно смущали.

Доехали до Стерлитамака. Нас поместили в довольно большой (двухэтажной?) школе; спали мы на тюфяках, набитых сеном. Командовал нами Ян Григорьевич Медовар, завхоз нашей школы. Стерлитамак я не помню, но врезался в память школьный двор с чертополохом, на котором я ловил букашек для своей коллекции. Ходили в кино, смотрели “Петра I”.

В Стерлитамаке пробыли недолго; дальше путь лежал на юг, через венцы невысоких гор. Маленькие лошадки везли маленькие телеги. Обоз был длинный, возчиков было меньше, чем телег, и мы с Борей Крюковым получили в самостоятельное пользование отдельную телегу. Ехать было интересно: спуски, подъемы, мосты через речки, леса. Очень потешала ехавшая впереди нас “тетя Тонна” (толстая белая дама, мама Лоры Рыбченковой) – она громко вопила, когда телега раскатывалась и подпрыгивала на ухабах.

Привал был в Скворчихе; колхозники приняли нас приветливо. На длинные столы поставили глиняные чашки с медом (пополам с воском); кормили творогом, сметаной, белым хлебом. Как потом, в голодные годы Воскресенска, вспоминалась эта трапеза!

...Длинные гряды невысоких сопков — “венцы” — одеты светлыми широколиственными лесами (ни елки, ни сосны мы не встречали). Внизу – мощные дубы, растущие редко, поодаль друг от друга. Зимой их стволы в два обхвата

толщиной – лучшее топливо для печей; пилить эти бревна трудно, двуручной пилой в длину не хватает, зато колоть, особенно на морозе – одно удовольствие: от удара колуна чурки со звоном разваливаются на тяжелые розовые коленца. Внесешь беремя таких дров в дом – и как-то по-особому кисло запахнет дубовой клепкой. Железная печка накаляется докрасна, ее черный бочок светится насквозь, как под рентгеном.

Под дубами растет только папоротник, а в дуплах живут огромные шершни. Выше пояса дубов вдоль венцов идут липовые и кленовые леса. Огромные деревья стоят в окружении частого молодняка. Кленочки, прямые как струна, без сучка и извилины, идут у нас на удилица, а вот молодые липки служат сырьем для самой насыщенной местной промышленности.

Вообще липа – основной строительный материал, из не очень толстых липовых бревен срублены избы, амбары; массивные заборы – вроде крепостных заплотов: в землю врыты толстые столбы с пазами, а между ними, горизонтально, бревнышки из той же окоренной липы – съемника; липовым корьем кроют крыши. Особенный серебристо-серый цвет потемневшего от дождей липового бревна, отличный от осины или другого дерева (гуще, темнее, теплее), определяет колорит села.

“Туземцы” рубят тонкие, в руку толщиной, липки и снимают с них кору. Из желтого лыка, разделенного на узкие полосы, плетутся лапти – основная обувь как местных жителей, так и горожан. Пара новеньких лаптков стоит пять рублей. Новые, неношеные лапти – как

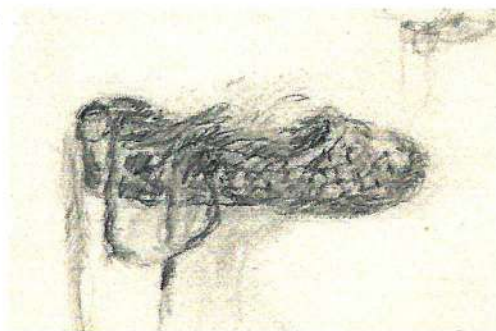
редкая корзинка, но при первой носке лыко от сырости набухает, просветы исчезают, и весь лапоть становится как из одного куска, непроницаемым для воды. По бокам и сзади лаптя проушины, в которые вдеваются оборы – длинные, сплетенные из овечьей шерсти или конского волоса шнуры, которыми лапти привязываются к ногам. Обора продевается в проушину над пяткой так, чтобы получились два равных конца, они обхватывают с двух сторон пятку, перекрещиваются, вдеваются в боковые проушины, снова перекрещиваются и снова обхватывают

щ и к о л о т к у , обматываясь несколько раз. В здешних краях оборы не обматывают всю голень до колена, крест накрест, как на гравюрах Олеария или

Герберштейна, а виток за витком обхватывают ногу над стопой кольцом без просвета, на манер широкого браслета. Надеваются лапти на онучи из толстого беленого холста домашней выработки, и темные кольца обор выглядят нарядно, даже щеголевато. Наши пижоны и тут оригинальничают: оборы у них цветные; иногда красные или на каждой ноге разного цвета.

Вообще, лапти – обувь очень удобная, легкая, упругая, никогда не жмет и позволяет сколько угодно нагнуть на ноги для тепла. Но, при всей дешевизне, по здешним дорогам, особенно по подстывшей в заморозки грязи, лапти могут ввести в немалый расход. Весной, вздувшийся Тор отламывал огромные береговые глыбы, и тогда виден был невероятно мощный,

метров до шести, слой жирного чернозема. Весной и осенью улицы покрывала буквально непролазная грязь. Телеги увязали в ней выше ступиц, полудохлые башкирские лошадки – кожа да кости – выбивались из сил. Да и людям приходилось туго: шли по заборам, пробирались окольными путями. Лучше всего было ходить по утреннему холодку, когда крутая грязь замерзала, становилась как кованая. Только вот лапти и ступни изнашивались очень быстро, острые комья затвердевшей грязи как наждаком срезали лыко.



Приходилось отдавать лапти в подковырку: в подошвы вплетаются полосы нового лыка. Но и это ненадолго. Лучше всего – подбить лапти железом, пришить к подошвам

жестяные подметки. Туземцы достаточно богаты, чтобы обходиться без такой предосторожности, зато нашим этот способ по сердцу; к тому же, железные подметки красиво и тонко звенят на ходу.

Кроме лаптей, плетутся ступни – глубокие лыковые галоши, они держатся на ноге без обор, и носят ее не на онучи, а на шерстяной носок – это, в основном, женская обувь. Ступни дороже лаптей и не всем из нас по карману.

Лапти очень практичны в дальней дороге; одна пара на ногах, другая, запасная – в мешке за спиной; ногам легко и удобно. Плетут лапти особые мастера. Одного такого умельца я запомнил: представьте себе крохотную, как в сказке, избушку об одном окошке, а в ней – сказочный, совсем белый

старичок. Дедушка совершенно глухой, но блестящий кривой кочедык в его темных руках так и мелькает.

Только лапти и онучи составляют общую униформу для всех жителей Воскресенска, местных и приезжих. Все остальное – резко отлично. Туземцы мужчины носят зипуны и армяки из домотканого сукна, нагольные полушубки и тулупы, крашенные в оранжевый, оливково-зеленый и черный цвета. Когда краска полиняет, мездра становится необыкновенно сложной по цвету, живописной. Мы с удовольствием пишем акварелью эти мозаичные полушубки. У зипунов широкие откидные воротники, как на картинах Рябушкина или С. Иванова. Мужики подпоясываются яркими шерстяными кушаками. На голове – шапка-ушанка из коричневой овчины, с обязательным маленьким козырьком.

Бабы в длинных, до середины икр, сборчатых юбках, в белых фартуках с фестонами, в толстых шерстяных носках коричневого, фиолетового или желтого цвета (белая шерсть окрашивается луковой шелухой или канцелярскими чернилами – другой краски сейчас нет) и в ступнях. На них бархатные или плюшевые кацавейки в талию, полушубки особого женского покроя и яркие платки.



В Воскресенске нас разместили во флигелях местной школы; много народу поместилось в большой комнате самого большого флигеля. Недели до начала учебного года мы жили не по классам, а попеременно — малыши рядом со старшеклассниками. Кормили нас сначала в сельской столовой, а потом приспособили один из домиков, стоявших на школьном дворе среди поленниц и огородов. По вечерам долго не засыпали; разговаривали, смеялись и пели песни (почему-то все нецензурные), орали в сто глоток всякую похабщину, стараясь не отстать друг от друга. Приставленные к нам учителя-воспитатели пытались утихомирить нас, но куда там (в темноте ведь не видно, кто поет)! С этих первых дней в Воскресенске начал складываться коллектив со своими неписаными правилами, даже ритуалом, иногда красивыми, а иногда очень уродливыми традициями. Школа стояла в центре села напротив райсовета, окна все настезь — и жители Воскресенска имели возможность с первых дней начать привыкать к московской “вольнице”.

С первых же дней стали сильно тосковать по Москве, начались бесконечные воспоминания о московских улицах, трамваях, киосках; ждали приезда родителей. Вскоре к некоторым из школьников родители приехали (тем же путем, на лошадях из Стерлитамака), и кое-кто перешел жить к родителям на частные квартиры.

К началу учебного года центральный флигель школы освободили под классы для занятий искусством, а нас поселили (уже по возрастам) в других казенных домах села. Общежития сохранили названия учреждений, ранее занимавших эти дома: “Райсовет”,



“Заготзерно”, “Оборона” (правление одного из колхозов), “Доротдел”, “Райзо” (земельный отдел). Под столовую отдали нам дом правления другого колхоза, тоже в центре, за базарной площадью, напротив радиоузла. Родители школьников поступили на работу: кто в школу учителем, кто в общежитие воспитателем, кто в столовую поваром или раздатчицей. Школа медленно, но верно обрастала бытом. Начался первый год воскресенской эпопеи.



Воскресенское – старинное русское поселение в Башкирии (в среднем течении реки Тор, притока Нугуша, в свою очередь являющегося притоком Белой), очень большое село (вряд ли кто-нибудь из нас хорошо знал его целиком), выросшее вокруг исторического центра – медеплавильного завода XVIII века. Современный центр сместился несколько к востоку, на пересечение Оренбургского тракта, вдоль которого выросло село, с более короткой улицей, начинающейся у завода – приземистой коробки красного кирпича с высокой кирпичной трубой; силуэт типичной старинной фабричной архитектуры. В наши годы заводской корпус приспособлялся то под лыжную фабрику, то под спиртзавод, то еще под

какое-то производство. Я был внутри корпуса один или два раза (первые месяцы моя мама работала там – вручную шлифовала шкуркой заготовки лыж для фронта). Никаких плавильных печей или машин я не помню, просто огромные закопченные помещения; полумрак, холод и запустение. От прежнего производства остались только мощные отвалы шлака на пустырях вокруг завода, на берегах Тора. Шлак, впрочем, был рассеян по всему селу и летом доставлял много мучений: бегали мы (за неимением обуви) босиком и часто резали ноги. К заводу примыкал большой пруд с огромными ветлами вдоль береговой дамбы. Недалеко от пруда, ближе к центру — большая каменная церковь, белая, с зеленой проржавевшей крышей. Ограда не сохранилась, только большие березы плотно окружали церковь. Вот, пожалуй, и все, что осталось в селе от истории.

Но все-таки, исторический колорит сохранялся крепко и очень сказался на наших работах. Мы знали, что заречная часть села, вытянувшаяся между Тором и горами, Ермоловка, выросла из слободы приписанных к заводу крепостных крестьян-углежогов, что во время Пугачевщины завод поставлял Пугачеву пушки, что на завод специально приезжал Афанасий Хлопуша. Тема Пугачева, Салавата Юлаева, пугачевщины легко вписывалась в окружающий нас пейзаж, и самые интересные, самые памятные композиции воскресенских школьных выставок – “пугачевские”.

Да и население (“туземцы”, как мы их вскоре стали называть с легкой руки Павла Бунина) сохраняло многие черты старины в своем облике,

характере, говоре, утвари. Недостатки снабжения военных лет еще больше законсервировали эту старину. Среди мужиков было много бородачей (может, это из-за войны, молодежь-то была на фронте). Посмотришь на такого бородача – шапка надвинута на лоб, волчий взгляд из-под козырька, рыжий армяк с широким воротом туго подпоясан красным кушаком, белоснежные онучи с черными оборами, аккуратно сплетенные лапти на ногах – ни дать, ни взять, герой Сурикова или “Капитанской дочки”.



12 декабря 1941 г.

Несмотря на то, что я жил в общежитии, мало кто из моих товарищей так подробно вникал в деревенский быт. Мама моя первые месяцы жила на квартире в Ермоловке, у реки, близ моста. В одной комнате вместе с ней и моим шестилетним братишкой жили еще мама Веры Дрезниной, мама и бабушка Наташи Сапожниковой. Старшая Дрезнина – толстая брюнетка еврейского типа. Наташина мама – худая измученная женщина с поблекшим лицом; бабушка – маленькая, очень старенькая безответная старушка в каком-то ветхом салопчике. От этой первой квартиры в памяти остался двор, утонувший в рыжем навозе, тесно окруженный всякими хлевушками и

сарайчиками. Пройти по двору было нелегко – перескакивали с камушка на камушек; оступишься – увязнешь в навозе. В низенькой комнате, где жили мамы, всегда было холодно, а зимой и совсем мороз стоял. Остался крохотный, в ладонь рисуночек: ночь, голая столешница с картошкой и котелком, коптилка из аптечного пузырька – натюрморт военных лет.

Мама уже работала у нас в столовой, вставать приходилось в пятом часу утра, идти через мост, по пустырю мимо завода, дровяных складов; потом, за церковью, начинались более населенные места. Однажды за мамой (она только что перешла мост) погналась стая волков. Огромные звери до того обнаглели, что выли у нас под окнами, а следы их мы встречали на базарной площади в самом центре. На мамин крик из сторожки выбежал сторож, охранявший дровяной склад, старичок на деревянной ноге, выстрелом отогнал стаю и проводил маму до первых жилых домов.

Утром я приходил из общежития и отводил братишку в детский сад. В одной группе с ним была сестренка Бори Крюкова Ляка (Лариса). Однажды был мороз с сильным встречным ветром. Я едва добежал от детского сада до Райсовета (нашего общежития). Открыть примерзшую дверь я не мог, так как обморозил руки. На мое счастье, кто-то вышел, и я смог попасть к себе в комнату (потом долго болели руки).

Весной мама переехала на новую квартиру на другой край села (освободилась комната после смерти мамы Инны Коган). Целыми днями, пока мама была на работе, я сидел в избе или бродил вокруг и рисовал, рисовал,

рисовал. Хозяйка избы — Мокшанцева (самая распространенная в селе фамилия; были еще Кононовы, Кувайцевы, Золотухины, Восьмеркины, Абрамовы — целыми улицами жили родичи и однофамильцы). Так вот, хозяйка эта была подвижная, расторопная баба, крикливая как сорока, решительная и отходчивая. Я писал за нее письма на фронт мужу ее Ивану Егоровичу (я немножко застал еще этого смиренного немолодого мужика). Письма были, как всякие деревенские письма — хозяйственные заботы, деревенские новости да бесконечные поклоны: "...еще кланяется тебе..." Я писал их серьезно и старательно.

И вообще я с трудно объяснимым усердием вникал во все детали деревенской жизни. Альбомы мои были полны зарисовок всякой утвари: то это ухват, то цеп для молотьбы, то ткацкий стан (эту деревянную машину не раз при мне собирали и настраивали, и я даже выучился ткать на ней; впрочем, холсты ткали редко, все больше "ватолы" — тряпочные полосатые дорожки). Рисовал я стрижку овец и самих овец, коз, телят, поросят.



Отдельные сценки деревенского быта встают передо мной и сейчас.

У нашей хозяйки собрались бабы: солдатские вдовы, жены, матери.

Особенно помню бабушку Абрамову. Она жила в маленькой избушке по соседству (зимой как-то замело эту избушку по самую крышу — соседям пришлось откапывать). Эта старушка часто сидела с прялкой у себя под березкой и охотно вступала в разговор. О чем только мы с ней не переговорили! И вот теперь сидела она вместе с другими бабами у непокрытого стола и запевала. Все немножко выпили водки, пахнувшей керосином (ее привозили в магазин в бочках из-под керосина) и захмелели. Пели визгливыми, горькими, щемящими голосами старинные песни. Но пели стройно, вступали не все сразу, а по порядку.



6 сентября 1942 г.

С пребыванием в этом доме связано у меня несколько маленьких, но памятных событий. Один раз я остался дома один и... чуть не замерз! Я никак не мог найти материала для лучины, чтобы растопить жестяную печку-буржуйку. Розовые пахучие дубовые поленья не желали загораться от бумажного факела. Не помогали и круглые палки ильма (высокие его кусты, почти деревья, привозились целыми возами; овцы и коровы жадно обгладывали кору, а стволы и ветки, даже совсем сырые, горели, словно облитые керосином). Наконец, нашел я сухое полено (оно

было подложено под колченогий стол), но никак не мог наколоть лучины своими обмороженными руками, а тут спички кончились, и я совсем пал духом. Спас меня брат нашей хозяйки: он зашел в избу, узнал, в чем дело, быстро наколол щепок, достал огниво и трут – и через минуту в печке горел огонь, коричневые бока ее засветились в тех местах, где дубовые поленья лежали близко к стенке.

А мужик этот очень колоритная фигура. Он навещался часто и каким-то ненатурально густым басом свирепо поносил Советскую власть, глаза его горели ненавистью, и в горле клокотала ненависть. Он ждал немцев-”освободителей” и переносил всякие сплетни и слухи о немецких десантах, которые уже вот-вот будут здесь.

И еще по селу ходила какая-то испитая женщина в городском пальто; к ее мертвому старообразному лицу были нелепо привешены длинные русые косы. Ходила от дома к дому и возбуждала людей слухами о приближении ”освободителей”.

А что же деревенские жители? Их мужья и дети воевали, их младшие сыновья целыми днями неумело топали в строю у клуба, вооруженные деревянными ружьями и гранатами, привешенными к кушакам. А потом раздражающие душу сцены проводов – их никогда не забыть...

Базарная площадь, пестрая толпа, разноцветные кошевы, заиндевелые конские морды, пар, кочья сена под ногами. Обоз трогается. Бабы, воя и заламывая руки, бегут, спотыкаясь, за санями.... Эх, что там ”Боярыня Морозова”!

Ожидание немцев – конечно, только эпизоды (я помню только два

таких), а вот ненависть к власти была в этом селе всеобщей. Когда-то это было богатое село. Мужики держали табуны лошадей, у окрестных башкир по дешевке арендовали землю. Были (конечно, не могло не быть) и бедняки, и батраки, но об этом никто не помнил. Все вспоминали полные сусеки пшеницы, которой даже лошадей кормили, изобилие и вечный праздник.



В коллективизацию все пришло в запустение: ветшали дома, оседали амбары, падали заборы, а мужики не желали ничего обновлять. Залатают крышу куском корья, привяжут что-нибудь лыком или веревкой и живут.... В этом благодатном краю, где на жирной земле трава, бывало, вымахивала в рост человека, скот падал с голодухи. На лошадей было страшно смотреть, и на обочине дороги можно было увидеть труп безответной коняги. Не свое – колхозное, и били несчастных животных по ребрам палками, хлестали по источенным оводом, облысевшим шкуркам ременными плетями. А сбруя! Все мочальное да пеньковое, латаное-перелатаное. Где уж там наборные шлеи, колокольцы да расписные дуги!

А мы ведь все так любили лошадей, серовские лошадки не давали нам покоя. Кони, лошадки – вот еще одно повальное увлечение школы; без

коня ни композиции, ни пейзажа на выставке почти не встретишь. Понятно, что все эти настроения и качества “туземцев” вызывали в нас презрение и злость. Жители видели в нас не только обузу для села (“выковырянных” – эвакуированных), а, прежде всего горожан, представителей ненавистной им власти, и платили нам такой же злобой; доходило до настоящих сражений с кровью и увечьями.

И все-таки, вспоминая теперь эту жизнь, я не могу отделаться от чувства, что все эти злобы и ненависти были лишь накипью, что, в целом, это глубокое проникновение в жизнь крестьян наложило неизгладимый и благотворный отпечаток на всех нас, на всю московскую школу. Я уж не говорю о Стожарове, все работы которого, хоть и на северном материале, проникнуты воскресенскими настроениями, об И. Попове, А. Тутунове, В. Иванове, чья картина “1945 год”, я уверен, просто воспоминание о Воскресенске. Через Воскресенск, через мужика поняли мы потом, вернувшись в Москву, передвижников. И даже удивительные “солдатские” рисунки Бабицына, сделанные им уже в Москве, по московским наблюдениям и наброскам – это все Воскресенск, его ритм, его черноземная сила, его непричесанная, неприкрашенная правда.

Уже к концу нашего пребывания в Башкирии мама еще раз переехала на новую квартиру, на самый дальний край села, за почту. Жили они с братишкой вместе с эвакуированными Хмельницкими, матерью и дочкой, моей сверстницей. Хозяева – Крючины: старик с сивой бородой, высокий, молчаливый; старуха и две взрослые дочери. У меня

сохранилась зарисовка – семья за обедом, очень все похоже на ивановский “1945 год”. Я опять бродил вокруг, рисовал избы, заборы, подолгу сидел на крыше и смотрел на синеющие дали, на мокрые поля с белыми заплатами снега. Старик Крючин стал ладить соху, и я своими глазами увидел, как сооружается это древнее орудие. Потом бабы впряглись, старик стал сзади, и началась пахота. Извилистые борозды одна за другой исчертили огород. Я, конечно, тоже помогал.



Мама работала на кухне, варила пищу, а потом разносила чашки с едой и подносы с хлебом по длинным некрашеным столам, стоявшим вдоль стен в большой промерзшей комнате столовой. Она, конечно, была не одна. Еще работали мать Рошки Натаповой Алта Яковлевна, мать и тетка Киры Бахтеевой, мать Клары Власовой, мать Игоря Попова и, самая старшая, мать Кати Шиллинг, Варвара Николаевна.

Эти самоотверженные женщины не жалели себя ради чужих (а потом уж своих) детей. А им нередко платили неблагодарностью и клеветой; с легкой руки некоторых родителей (из самых благополучных) и их сытых отпрысков по школе ходил упорный слух о воровстве на кухне, в котором обвиняли

поварих и подавальщиц. То и дело родительским комитетом устраивались проверки и ревизии. Ничего, конечно, не обнаружили, но клеветники не унимались.

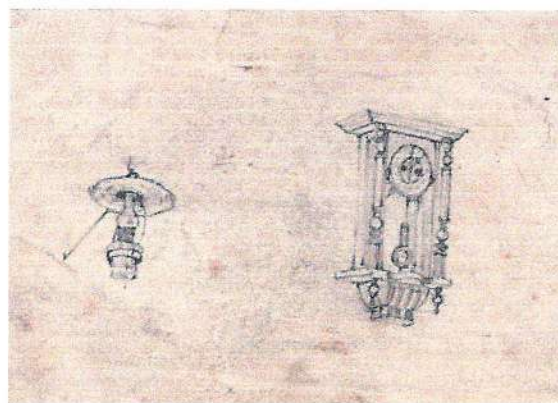
Острые на язык Бахтеева или Натапова — отбивались, а вот моя безответная мама только тихо плакала от обиды. Уж я то знал, как она “пользовалась”. Нередко кое-кто обманом получал лишнюю пайку хлеба, и мама оставалась совсем голодной. Да еще надо было кормить маленького моего братишку, и она по неделям не видела хлеба. Недаром именно на этой “прибыльной, сытой” работе она лишилась зубов от цинги, “заработала” дистрофию и вернулась в Москву с открытой формой туберкулеза.

От неминуемой смерти ее спасли заботы директора школы Н.А. Карренберга. Мама работала в школе вахтером, ночами мерзла в нетопленной каменной школе. Директор помогал, чем мог, жалел. А Н.А. Серебрякова, математичка, тоже туберкулезница, отдала ей свою путевку в туберкулезный санаторий. Кстати, именно с Н.А. я “воевал” на уроках, доказывая на потеху всему классу, болван, что математика и искусство — вещи несовместные.

Что же было главное в калейдоскопе мелочей, событий, их которых состояла наша тогдашняя жизнь? Чем, в основном, были наполнены наши дела и помыслы? Жизнь наша держалась на трех китах: Москва, живопись, еда. И все наши разговоры вертелись вокруг этих трех неизменных тем.

Тосковать по Москве мы начали еще в дороге. Для всех нас Москва олицетворяла мирную жизнь. Трудности

и невзгоды войны были здесь, в Воскресенске. Конечно, мы знали, что и в Москве война, но, покинув столицу вскоре после 22 июня, мы могли ее себе представить только мирной. И каждая самая пустяковая, самая прозаическая мелочь приобретала особое очарование. Не было дня, чтобы мы, собравшись в кружок у открытой печки или лежа на своих койках, не предавались самым подробным воспоминаниям. “А помнишь...” — и взхлеб, перебивая друг друга, мы перечисляли улицы и переулки, подворотни и трамвайные остановки, звенящие трамваи и газетные киоски, магазины и лотки Москвы. И все это представало в каком-то чудном ореоле, в этих каждодневных занятиях было что-то религиозное; это был культ, какой-то групповой гипноз, ежедневный массовый приступ ностальгии.



Я не помню каких-то особенно патриотических разговоров о войне, о победе. Окончательная победа подразумевалась сама собой, это было так же непреложно, как то, что утром встает солнце, и начинается день. Если бы кто-то усомнился в этом, на него, наверно, посмотрели бы как на сумасшедшего. Может быть, ребята постарше смотрели на вещи трезвее, не знаю. У нас, младших, был один ответ: победа будет наша, потому что иначе не

может быть. Вопрос был только в одном – когда?

В Райсовете, в нашей комнате жило человек 10 – 12. Койка Юрки Виноградова (“Геббельса”) стояла у торцевой стены, против двери. На стене над койкой был приколот высохший, но не облетевший, сохранивший цвет и форму цветков розы или астры, не помню. Каждый вечер, ложась спать, Юрка смотрел на цветок и заявлял: “Если к утру цветок отлетит, значит, Тула сдата!” Немцы тогда стояли под Тулой, у Косой Горы — родины Юрки. Утром цветок был цел и невредим. “Тула не сдата!” – вопил Юрка. Цветок так и не облетел, мы берегли его.

Ночь. Общежитие спит. Вполнакала горит желтым светом лампочка. За черными, без занавесок, окнами – зима. Не спим только мы вдвоем с соседом Шуриком Завьяловым (“Кашалот”; хоть он и из группы “Гестапо”, а живет почему-то с нами, малышами). Я читаю, а Шурик любуется своим холстиком. Маслом он еще не пишет, это еще впереди. В предвкушении этого торжественного акта он натянул на маленький подрамник кусочек холста и ежедневно грунтует его тончайшими слоями цветного грунта: сегодня розовым, завтра голубым. Загрунтует, и повесит на стенку повыше, под самый потолок. Холстик такой аккуратный, чистенький, что им любуются все. А Шурик просто влюблен в него. Вот и сейчас он сидит на койке и не сводит с него глаз, нежно гладит его рукой.

От черной круглой печки-шведки (почему-то в Воскресенске были такие печки, а не привычные голландки) идет тепло; от окон веет холодом. Тихо. Из соседней проходной комнаты доносится

хрип репродуктора. Пора и нам спать. Мы с Шуриком встаем, идем к двери. Проходим мимо репродуктора – что это? – какой странный голос диктора Левитана, какие странные непривычные слова: “В последний час!.. на Клинском направлении...” Астрономические цифры трофеев... немцы бегут! “Победа! Ура!” – заорали мы с Шуриком. Все повскакали с коек, чуть не попало нам по шее. Но вот опять: “В последний час!” – на этот раз громко, во всю мощь. Что тут началось у этой нелепой картонной тарелки репродуктора – полураздетые, все пустились в пляс, обнимались, кричали, потом выбежали на мороз и опять кричали “ура”!

Только теперь поняли мы, какой гнет все эти месяцы немецкого наступления лежал на нас. И вот этот страшный груз свалился. Победа, Москва, мир обрели реальные очертания.

И еще был один момент, когда все мы, взрослые и дети, все до одного слились в одном порыве чувства. Это было уже после Сталинграда, зимой 1943 года, когда школа уже готовилась к возвращению в Москву. Было собрание; этот вечер я плохо помню в деталях (хотя все время простоял на скамейке у стены и не отлучался) – слишком я был взволнован и захвачен происходящим.... Началось все, как всегда, с нудных упреков и поучений: о нашей недисциплинированности, о хулиганстве и воровстве, о чести и достоинстве художника. И вдруг что-то произошло, что-то надломилось. Самые отпетые, самые непокорные и циничные парни выходили на середину и громко каялись в своих проступках, клялись, что этого больше не будет. Один за другим

вставали и, без всякого принуждения, сами рассказывали о нападениях на огороды, погреба и сараи, о кражах в общежитиях и других подобных поступках.

Потом кто-то догадался вынести знамя. И все подходили и целовали край знамени...

И было какое-то необычайное чувство отрешенности от всего мелкого, личного, подлого. Все растворилось в едином чувстве общности, подъема, радости.

Конечно, настало утро, и начались будни. И настроение этого вечера день ото дня гасло, выветривалось, но долго еще, до самого отъезда, сохранялся его аромат. Ребята подтянулись, случаи воровства и хулиганства надолго прекратились. "Ты ведь знамя целовал", — этого было достаточно, чтобы человек опомнился. Ребята постарше стали к нам ласковей, внимательней. Это было что-то очень важное, переломное. Пусть те, кто помнят детали, восстановят по порядку события этого знаменательного вечера.

И еще один эпизод. Это было вскоре по приезде в Воскресенск. Тогда еще сохранялся традиционный порядок утренних школьных линеек, на которые нас собирали перед началом дня для переключки и т. п. Было уже холодно, и нас построили не во дворе, а в коридоре школы. На этот раз не было ни выговоров, ни поучений. В торжественной тишине услышали мы весть о смерти Нестерова.... Это был траурный день.

В самые страшные, голодные и холодные дни мы безотчетно оставались нормальными советскими мальчишками и девчонками. И, несмотря на все

уродливые напластования, вспышки индивидуализма и анархии, в Воскресенске сложился прочный, здоровый коллектив. Мы были как одна семья. Семья не без уroda, но все-таки это семья, это общество, связанное кровным родством, единством переживаний, горестей и радостей.

Огромной силой, связывавшей нас всех и оберегавшей коллектив от вырождения в шайку изголодавшихся и опустившихся ребят, было искусство. Я расскажу об этом, начиная со своей эволюции.



Поступая в МСХШ, я не собирался стать художником. И весь первый год я скучал на уроках искусства. Восхищался работами более талантливых или удачливых моих товарищей, но сам и не мечтал работать не хуже их. Лето и осень в Воскресенске мне в этом отношении ничего нового не принесли. Но вот начался учебный год. По рисунку занятия вел Александр Осипович Барщ, по живописи и композиции — Ашот Григорьевич Сукиасян. Классные занятия никакого следа в моей памяти не оставили; что мы рисовали, что писали — не помню. Зато домашняя работа была более привлекательна и памятна.

С первых дней или месяцев стены коридора школы превратились в



выставочную экспозицию. В несколько рядов висели работы учеников школы. А дома, в общежитии, мы видели, как создаются эти композиции, натюрморты, портреты. В школьной библиотеке, доставленной в Воскресенск (ее возглавляла все та же Екатерина Павловна), мы брали альбомы репродукций и книги. Из комнаты в комнату кочевали “кнебелевские” “Серов”, “Врубель”, “Рябушкин”, “Нестеров”. Но все же главным в процессе становления маленьких художников был пример старших, старшекласников. Разглядывая рисунки Виктора Иванова, отточенные и изящные, мы не верили, что это сделано нашим старшим товарищем (это было нерукотворно, волшебно, непостижимо; особенно запомнилась “Виолончелистка”). Но ведь вот он сам, красивый, черноволосый, с мягкой улыбкой под черными усиками, неизменно вежливый, деликатный и скромный; в нем совсем не было этого снобизма, презрения к нам, младшим, которым грешили иные школьные гении.

Один только Гусек решался заговорить с этим серьезным, таким умным и начитанным художником; бывал в дальней комнате общежития, где жили старшие: Иванов, Суханов, Лобанов и Чикин, носил показывать



свои рисунки и даже – трудно поверить – рисовал рядом со старшими. А потом возвращался к себе на койку и тончайшим колонком писал в окошко пейзаж, внимательно перечисляя каждое бревнышко, каждый гвоздик. Мы все, одноклассники, тоже обзавелись кисточками первых номеров и принялись безбожно подражать Гуську. И карандашом рисовали такие же подробные рисунки.

Из старых мастеров нашим богом стал В.А. Серов. Монография Грабаря переходила из рук в руки, репродукции заучивались “наизусть”; детские и юношеские рисунки художника сводили нас с ума.

И скоро рядом с Гуськом появился конкурент – Игорь Мануйлов. Его фанатическая преданность делу и нечеловеческая усидчивость на наших глазах делала чудеса. Более педантичный, чем Гусек, суховатый и точный, он мог неделями корпеть над одним листком, выписывая одну за другой мельчайшие детали пейзажа. Он мог месяцами перерисовывать с листка на листок бесчисленные варианты одной композиции и каждый такой вариант довести до конца. Между прочим, ни Гусек, ни Игорь не придавали никакого значения пресловутой “акварельности”, всем этим красивым затекам и т.п. Главное было – сделать как в жизни, остальное приложится.

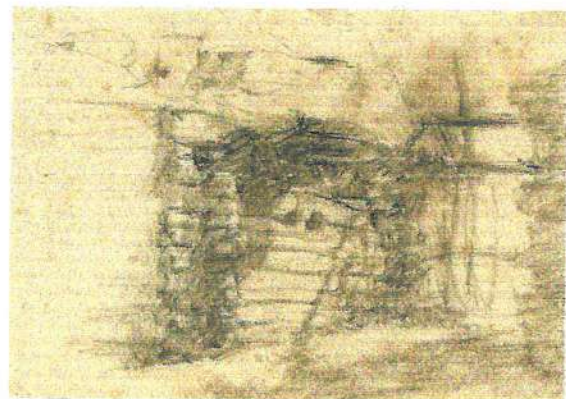
Трудно переоценить значение этого примера для всех нас и, конечно, для меня. Сначала у меня не хватало терпения и умения, и я бросал работу, но постепенно работа взяла свое: и у меня появились свои находки и удачи, правда еще слишком скромные, чтобы привлечь внимание товарищей и педагогов. И вот

свершилось: я получил первую пятерку, или даже две. Было это в середине первого учебного года. Ашот Григорьевич собрал нас в классе и объявил оценки. Я не поверил своим ушам: у меня пять за композицию, да еще за рисунок! Участь моя была решена. Я приобщился к кругу избранных! Я художник! С этого дня не было минуты, чтобы я не работал, не думал о работе. Правда, от былой “штатской” жизни осталась непреодолимая страсть к исследованию природы; по-прежнему долгими часами охотился я в лесу и в поле за жуками, наблюдал жизнь леса, составил по всей форме научную энтомологическую коллекцию. И страсть эта не утихала до последнего дня пребывания в Воскресенске. Но и это занятие как-то сливалось у меня с рисованием, с изучением травинки и листиков. Этот “аналитический” период закончился у меня только в 1946 году, когда В.В. Почиталов вытащил меня на дорогу живописи, и я понял разницу между школьным и художественным изучением природы.

Большим уважением пользовался А.П. Шорчев (но я у него не учился), А.О. Барц, терпеливо снося все выходки и подшучивания (почему-то) старших ребят, оставался неизменно ровным, скромным и настойчивым воспитателем самых младших учеников. Он внимательно и ревниво следил и за моей работой, терпеливо и мягко направляя к серьезному и повседневному труду.

Кажется, в начале лета 1942 года вся наша группа во главе с Александром Осиповичем отправилась на пруд, где принялись мы рисовать с природы стволы столетних деревьев на дамбе, их мощные морщины и узлы серой коры. У меня дело

не клеилось. Привыкнув рисовать острым карандашом коротким штрихом, я никак не мог найти фактуру рисунка. Рядом со мной сидел Миша Хайруллин, енисейский татарин, сирота из местного детдома, принятый, в виде исключения, в школу. У него дело шло не лучше, чем у меня. И вот А.О. взял у него планшет и на краю листа нарисовал кусочек коры. Штрихи ложились сверху вниз, ползли как змеи, извиваясь по бумаге. И я вдруг увидел воплощенной древнюю мощь старого дерева. Оказалось, карандаш можно держать по-всякому, и острием и плашмя, штрихом можно передать любую поверхность, любой материал.



Это маленькое открытие разорвало сковывающую меня робость, и с этого дня дела у меня пошли лучше, я рисовал от зари до зари все, что попадалось на глаза. Особенно привлекали меня широкие листья лопухов. Какое разнообразие, какая игра поверхностей, линий, теней! А.О. хвалил мои рисунки, ребята посмеивались и над ним и надо мной. А меня его похвалы окрыляли, я рисовал, рисовал, рисовал. Не было бумаги – подбирал брошенные чужие рисунки и выкраивал чистые места, не было карандашей – собирал после занятий в коробочку обломки графита, вставлял их в деревянную оправку карандаша, затыкал конец

спичкой – получалось что-то вроде цангового карандаша – и рисовал. Самая заветная, но несбыточная мечта была – иметь настоящие, целые и длинные карандаши, чистые настоящие альбомы.

Рисовал я много и успешно, 2-3 моих рисунка появилось на очередной ученической выставке (это было осенью или зимой 1942 года). Я помню, как Кира Бахтеева, талантливый живописец, совсем взрослая девушка, человек из непонятого мира взрослых, внимательно посмотрела на мои рисунки, обернулась, нашла меня глазами и негромко сказала несколько слов похвалы. Я был счастлив.



Рисунок-то у меня шел хорошо, а вот с живописью не ладилось, никак не мог я освоиться с акварелью. То слишком жидко краску возьму, то чересчур густо, то забуду кисть промыть – словом, получалось у меня что-то мутное и немощное, и никогда не хватало терпения довести лист до конца. Еще когда какие-нибудь мелкие детали делаешь, где роль рисунка особенно велика, — все благополучно, а вот широкие планы – небо, снег или фон в натюрморте, драпировки – из рук вон.

А ведь как у Андриюши Тутунова все это красиво, сочно и ярко выходит; совсем не так, как у Гусева или Мануйлова – ни особого изящества в рисунке, ни прелести мелких деталей, ни светотени, и по краскам на натуру не очень походит – а ведь как красиво. Плотные, незамутненные, цельные краски ложатся на лист одна рядом с другой, и из этих цветных лоскутков получается гармоничное целое. Нет, никогда мне так не научиться!



А у Иры Аристовой на школьной выставке какие акварели! Короткий цветной, словно камешки мозаики, голубые, розовые, зеленые – точь-в-точь, как у Врубеля! А между тем Добросердов твердит, что я живописец. Нет, верить ему нельзя.

Говорят, что он тонкий живописец, второй после Почиталова. Не знаю. А вот что человек он необыкновенно добрый, душевный, благородный – это сразу видно.



Высокий, сутулый, и ходит как-то робко, и говорит тихо, запинаясь, словно извиняясь. Вечное присловье “мает-ли” (понимаете ли) стало даже, с легкой руки Цымы (Андрея Овчарова) прозвищем Добросердова. Но в его черных спокойных глазах тихо горит сила убежденности, ему просто ничего не нужно, кроме искусства. А вот Ашот весь в житейской суете, в хозяйственных заботах.

Василий Васильевич Почиталов ведет живопись в старших классах, и у него тоже есть прозвище – “ВасВас-иконостас” и “Дядя Вася Сложноцвет”. Это у него система такая; непонятно, но ведь какие работы у его учеников интересные. Как у Иры Аристовой, только маслом. Цвета, цветики, оттенки – все трепещет, колыхается, словно живое. Рисунок расползается – это верно, но какая свежесть, сколько воздуха! У Виктора Иванова рисунок безукоризненный, но живопись мне нравится у Ивана Сорокина, Никиты Калиновича, Славки Федорова. Вот если бы совместить точный рисунок и такую вот свежую, сочную живопись! Возможно ли это?

Да, Сашка Суханов доказывает это, непревзойденный, удивительный – кумир малышей. Невысокий, коренастый, белобрысый; о его физической силе ходят легенды – нам, мальчишкам, это страшно импонирует. Но главное не в этом, а в его работах. Его живопись сильная, изящная, благородная; серый цвет у него мерцает серебром, красные сдержанно горят, ни одного глухого, мертвого пятна. И при этом, какой уверенный рисунок, какая точная отделка деталей, какое разнообразие фактуры! И карандашные

его рисунки хороши; а композиции! – простые: одна-две фигуры, пейзаж, интерьер – и все словно о чем-то задумалось, все полно значения, и в самой недосказанности сколько очарования! Вот он, лиризм без расслабленности, сила без наглости, артистизм без претенциозности. Похоже на Сурикова, но это не подражание, это все очень свое, “Сухановское”. Цельный, законченный художник. Вот только очень он недоступен, с нами, младшими, и не здоровается; не то, что Иванов.

Или вот взять Коржева. Раньше он на выставках не замечался — сам то он, правда, очень приметен: здоровый, краснощекий, шумный – а какие интересные натюрморты выставил: какие-то шелковые ленты... краски положены густо и горят из темноты басово, бескомпромиссно. Очень эта живопись к нему самому, ко всему его облику подходит.

Это все ученики ВасВаса; и сколько их еще! Взять Вальку Пурыгина: с виду – медведь, лицо — как топором вырублено, угрюмое, даже мрачное. И вдруг как улыбнется – словно сменили ему лицо – все засветится добродушием. Младших не замечает, словно не видит, и вдруг как-то странно потеплеет, разговорится, даже шалить с тобой начнет как с равным. Но это все пустяки, хороших ребят у нас немало, а вот какой он художник? – без этого, будь ты хоть раззолотой, не будет тебе настоящего уважения. А художник он был вроде никакой, и вдруг – откуда что взялось — такие пейзажи выставил, ни на кого не похожие! Весенние, солнечные; груды снега, словно вылепленные маленькой лопаточкой-мастихином, ослепительно горят, тени синие, небо синее, во всю

силу краски. И нигде не смягчено, и оранжевые, и желтые, и красные кричат во всю мочь – а ведь все сгармонировано, полно воздуха, тени прозрачны до иллюзии.

Особенно хорош пейзаж: колокольня на синем небе, верхушки берез. Сколько раз мы ее писали, эту церковь, но вот только сейчас поняли, как надо было ее увидеть. А рисунки Вальки! Вот хоть этот: черная земля, прошлогодние подсолнухи торчат вразнобой – до чего же сочно, какая черноземная сила, прямо живопись карандашом; и все это так выражает самого Вальку. Как все-таки интересно это: хорошая работа похожа на ее автора; по работе можно угадать характер, повадки, даже внешний облик художника. И еще интересно, что на каждой выставке – неожиданные открытия, новые имена.

Вот Будихин – краснолицый, худой, белокурый, почти альбинос – точь-в-точь молодой мужик из картины Репина “Крестный ход” (справа, под фонарем). Ничем не был он приметен, разве что приятным высоким тенором на школьных вечерах. И вдруг чудесное превращение: на одной из выставок отличился, целую стенку завесил пейзажами.

Когда я поступал в МСХИШ, то на вступительном экзамене по композиции вынужден был даже спросить у П.П. Соколова-Скаля: “Что это такое, композиция?” Оказалось, что это всего-навсего рисунок не с натуры, а “из головы”, с фигурами людей. С фигурами так с фигурами, и я нарисовал бабу с ведрами в углу украинского пейзажа, который успел сочинить. Так вот, уже в первую военную осень в газетах

появилось много материалов о зверствах оккупантов; нас всех собирали на школьном дворе и читали фронтовые очерки. Страшные сцены немецких зверств ужасно меня поразили. И я попробовал перенести эти кошмарные видения на бумагу. Одна из этих композиций и принесла мне первую пятерку.

Потом я не раз рисовал то допрос пленного в партизанском штабе, то немецкого часового под фонарем, на котором висит повешенный, и особенно возился с темой: “Беженцы”. В это время я познакомился с творчеством Домье, и его “Беженцы” не давали мне покоя. Получалось, надо сказать, довольно сносно. А когда в школе началось повальное увлечение Врубелем, у меня это вылилось в композиции о первобытных охотниках в пещере у огня: то это молчаливая сцена “Страж огня”, то буйная пляска у костра. Бывало, лежу ночью без сна и ясно, до галлюцинаций вижу эти блестящие тела, прыгающие тени, слышу стук браслетов и ожерелий.



Вообще, эффекты светотени очень меня тогда занимали. Когда соберутся ребята у печки тесным кружком и, озаренные огнем, разговаривают о Москве,

я пристраивался где-нибудь в уголке, в темноте, и делал наброски, чуть ли не на ощупь. А потом эти наблюдения переносил в композицию.



Для работы над пугачевской темой, которой занималась едва ли не вся школа, у меня не хватало подготовки. Я не знал ни оружия, ни костюмов, а главное – где уж мне было мечтать сделать что-нибудь стоящее, когда в школе на стенах висели такие недостижимые образцы, как работы Бабицына, Година (особенно его “Пушки Пугачеву”), “Капитанская дочка” Льва Котлярова (“Барабанщик” и др.). Это потом, уже по возвращении в Москву я буду вспоминать каждую деталь этих карандашных листов (особенно котляровские фрагменты) и целых два года буду пытаться сделать



что-то в этом роде в своих “суриковских” композициях. Они создадут мне репутацию в школе, но это будет позднее, а пока я только могу восхищаться работами старших. И сейчас, вспоминая эти работы, я уверен, что это были подлинные блески гения.

Впрочем, еще в Воскресенске я избрал себе в вечные наставники Сурикова. Были потом длительные увлечения Нестеровым, Рябушкиным (через подражание этим мастерам прошли тогда многие), а вот Репиным, в отличие от моих товарищей, я так никогда и не увлекся, хотя рисунки его какое-то время восхищали меня и, конечно, мне не пришло бы в голову отрицать его. А к Серову я никогда не остывал.



11 декабря 1943 г.

И еще волновал меня Рембрандт. У Игоря Мануйлова над койкой были прибиты открытки: офорты Рембрандта (штук 5-6); мы не раз спорили возле этой маленькой выставки. Товарищи мои недоумевали по поводу явных анатомических ошибок, неправильных пропорций. Я пытался объяснить, что не в этом дело, что каждый штрих здесь живет, что вот эта рука в автопортрете, конечно, слишком мала, но зато она как живая, ведь в этих жилах кровь

пульсирует! А ведь сделано-то всего несколькими штрихами, без красок. Непостижимо! Я тогда много смотрел репродукций, читал по истории искусства все, что было в нашей библиотеке.

И я был не один, чуть ли не все тогда читали, это была наша Третьяковка. Как ждали мы того часа, когда сможем, наконец, увидеть подлинники этих шедевров! Ведь нам предстояло, по существу, впервые встретиться с ними. А пока мы довольствовались книгами, и значение нашей школьной библиотеки трудно переоценить, тем более что руководила ею Екатерина Павловна Малиновская – ее любила и уважала вся школа. За неизменно ровный характер, доброту, а главное, за то, что она была по-настоящему культурным, интеллигентным человеком. Она наизусть знала библиотеку и всегда приходила на помощь в трудную минуту; такой она оставалась и в Москве.

Для меня лучшее, что связано со школой, включает в себя нашу библиотеку и умную, веселую, все на свете знающую Екатерину Павловну – “Мурзилку старшую” (в отличие от Мурзилки младшей, ее дочери Наташки; сначала придумали прозвище для дочки, а потом перенесли его на маму).

Читали мы не только по искусству. Одно время затеяли читать вслух роман Яна “Батый”. Читал, кажется, Саша Трофимов. Вечер за вечером в нашей комнате в общежитии Райзо. Глава за главой одолели всю книгу; потом увлеклись Гофманом (у нас в библиотеке было несколько томов его сочинений). Только его читали по очереди каждый про себя – Гофман не

для коллективного чтения.

Бывало, проснешься ночью: еле еле теплится волосок лампочки, на столе, на табуретке, под самой лампочкой сидит Игорь Мануйлов, уткнувшись в книгу. Тихо, только крысы пищат под половицами, да сквозь шелест и гудение метели слышно, как гремит лист железа на крыше церкви, и где-то далеко воют волки. Я знаю, Игорю сейчас жутко, он читает “Девуцу Скюдери” или “Ночного гостя”, страшно даже голову поднять и взглянуть в черное окно...

Потом почему-то нас захватил Мережковский. Боря Нечаев, мой сосед, по прозвищу “Гамадрил” или еще “Курнафеечка”, даже сделал блестящую композицию жирным черным карандашом на большом листе: монахов в черных клобуках, пляшущих вокруг костра с высоко поднятыми большими распятиями (что в костре – не помню, кажется, связанный Савонарола, а может, это книги летят в огонь).

Чтение наше было очень разнообразно, но бессистемно. Одно можно сказать: плохих книг мы не читали – их просто не было в нашей библиотеке.

Наш доктор, отец Вани Кускова, прочел нам первую лекцию по литературе. Сергей Иванович Кусков работал в сельской больнице и, одновременно, в нашем школьном изоляторе. Он систематически осматривал нас и время от времени помещал на недельку в изолятор, на отдых и поправку, ведь в изоляторе лучше кормили и даже ежедневно выдавали кубик настоящего сливочного масла!

Доктора Кускова все мы уважали и немножко боялись. И не потому, что он

был строг или придирчив; нет, боже упаси! – вся его большая фигура излучала добродушие. Мы боялись его смеющихся сквозь толстые очки глаз, которые видели насквозь стремление любого из нас немножко посимулировать и попасть в изолятор. О его невозмутимости и юморе рассказывали анекдоты. Он был человеком большой культуры, и именно он в разгар “Врубелевского” периода прочел у нас лекцию “Принцесса Греза”.

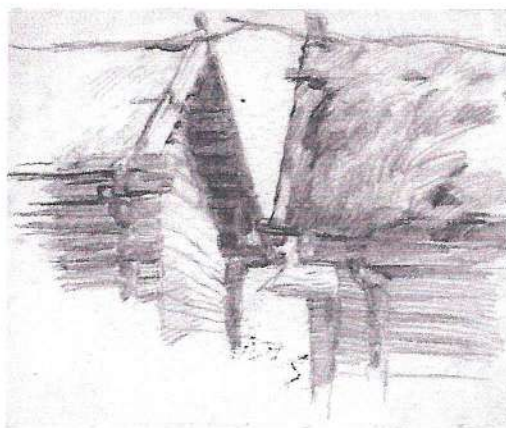
Я на этой лекции не был, а вот две следующие хорошо помню. Их читал Евгений Михайлович Шиллинг, отец моей одноклассницы Кати Шиллинг, изможденный, болезненный, со старообразным, морщинистым лицом; специалист-этнограф (у него были труды по искусству народов Дагестана), он вел у нас историю (довольно бесцветно; интересно было только тогда, когда он касался расселения народов, родства и различия языковых групп и т.п.).

Первая лекция Евгения Михайловича была “Песнь о Роланде”. Он сидел за столом в большой классной комнате и рассказывал о поэме, рядом с ним Катина сестра Мариша Кречетова (не родная дочь Е.М.), миниатюрная девушка с открытым симпатичным лицом иллюстрировала лекцию, звонким мальчишеским голосом читала торжественные строки. Она была актрисой настоящей, чуть ли не из МХАТа, а ее мама, Варвара Николаевна, тоже бывшая актриса Малого, помнила даже Ермолову, а теперь работала в столовой. После лекции я несколько дней рисовал “Песнь о Роланде”.

Вторая лекция (“Младшая Эдда”) произвела на меня такое сильное впечатление, что я выпросил у Е.М. книгу и несколько недель читал и

перечитывал ее, а потом долго и терпеливо переписывал целые песни в специальную тетрадку.

На лекции приходили не только отдельные любители, зал был всегда полон. В большей или меньшей степени все прошли эту “культурную обработку”, надо ли говорить, какое благотворное влияние имели эти лекции на многих из нас.



А вот другие массовые занятия и увлечения. Запомнилось обозрение, автором которого был Алеша Каменский — “Луп-Луп” (сын поэта В. Каменского; мама Алеши, Августа Алексеевна, вела у нас пение). Представление пародировало “Бориса Годунова” и в остроумных сценках показывало жизнь школы. Вся роль Почиталова была в стихотворном монологе, который заканчивался словами: “Ох, тяжела ты, шапка Мономаха, но не легки и эти сапоги”. В.В. Почиталов оставался за директора, когда бывал в отлучке Н.А. Карренберг (который ходил в болотных сапогах с отворотами). В сапогах Карренберга и выходил исполнитель роли Почиталова.

Была целая сценка, изображающая появление духа покойного нашего коняги по кличке “Воробей”: на столе в полном одеянии



“туземца” спит “Попишка”, из-за кулис появляется призрак коня (двое ребят, накрытых холстом, спереди торчит вырезанная из фанеры конская голова; конь говорит, а нижняя челюсть при помощи веревочки движется в такт слов). Из-за печки подает голос, кажется, Шурик Кашалот:

“Я не Пегас, я Воробей, не бойся,  
/Уж сорок дней, как кончили меня, /Но  
все покоя нет моей измученной душе.  
/Посылки вертятся в глазах...”

Еще одна сценка. Вовик Стожаров, в малиновом лыжном костюме и в фехтовальной маске, произносит монолог Рапиры Ивановны. То есть учителя физкультуры Раисы Ивановны Чернышовой, мамы нашего товарища Аркадьева. Говорят, она была чемпионом по фехтованию; в школе есть маски, рапиры, колеты, и уроки физкультуры у нас почти целиком заняты этим видом спорта. И теперь устами Стожарова Рапира Ивановна ратует за поголовное и обязательное обучение фехтованию. На сцену вбегает мой маленький братишка, Вовик хватает его и уговаривает вступить в секцию.

Кто-то произносит монолог Люциана Шитова. Люциан – яркая личность: подражая Маяковскому, он пишет стихи “лесенкой” и ведет себя так, как, по его мнению, вел бы себя Маяковский – терпеть не может рутину, воплощенную для него в академическом требовании строгого рисунка, да и вообще не признает всякие приличия и условности (впрочем, все это вполне невинно, на уровне розыгрыша). И вот сейчас: “Нам в школе твердят – рисунок нужен. Вздор, ерунда. Дали бы лучше сытный ужин”. Все, конечно, смеются до упаду. Этот вечер очень всем памятен.

Был еще кукольный театр (кажется, всего лишь одно представление), организовали его Олег Буткевич и Митя Дмитриев (“Козел”). Была ширма и настоящие, очень похожие куклы из папье-маше. То выскакивал на сцену “Олег Шухвостов”, в очках и с вечным своим флюсом, то “Пронин”, томный молодой человек из компании не то “альфонсов”, не то “альфрудов” – Исака Каплана, Левы Портнова, Игоря Ильинского, Соколова (сына Соколова-Скаля) и др. С пиджачком этак на одном плече он произносил монолог: “Нигде мы не находим зовущих женских лиц. /Мы в ресторан не ходим, не тискаем девиц...”



Вдруг взрыв гомерического хохота: над ширмой появляется фигурка “Натали Викторовны Стасевич”. Она дергается, трясет пальчиком и скороговоркой сыплет замечания и выговоры. Прозвище ее “Трясучка”, она вспыльчива, раздражительна, никогда не пройдет мимо, чтобы не отругать; ее боятся: она завуч по общеобразовательным и учительница по русскому языку и литературе. Мы пока больше понаслышке повторяем злые шутки в ее адрес и обидные прозвища, которыми ее щедро награждают “гестаповцы”. Пройдет 2-3 года, она

станет нашим классным руководителем, и мы вдруг поймем, что это очень умный, мыслящий педагог, замечательный преподаватель литературы и добрейшей души человек. А ее вспышки раздражительности — отчасти от базедовой болезни, а больше чтобы поддержать установившуюся репутацию злючки и придиры. Она из числа тех духовных наставников, с кем счастливо свела меня судьба, кто формировал мой характер, мое мировоззрение.



В эвакуации Московская средняя художественная школа продолжала оставаться школой с полной программой обычной средней школы. В первый учебный год, зимой 1941-1942 г. мы только по искусству учились в “своей” школе, а общеобразовательные предметы проходили вместе с “туземцами” в их школе — большом рубленом доме на тракте, по дороге к почте. Директором школы был Крутилин, а жена его, маленькая большеглазая женщина с венцом светлых кос вокруг головы, преподавала литературу. Нас, москвичей, не стали выделять в отдельные классы, а перемешали с местными ребятами, и наш класс разделился на два параллельных, но мы не придавали этому значения и, только прозвонит звонок, обязательно собирались вместе. Между нами и “туземцами” пролегла незримая черта,

что-то вроде “расовой сегрегации”.

Туземцы были большей частью сытые, румяные, более или менее добротню одетые. Были среди них зубрилы-отличники вроде Гоги Новокрещенова, этакого юного Чичикова с хитрой улыбкой на розовом лице, кругленького, крепенького, в своем черном костюмчике и аккуратных черных валеночках. Или вот Золотухина — крупная девица с красивыми сонными глазами. Мы открыто презирали их, зло подшучивали над их выговором, над их старательностью и невежеством — особенно изошрялся Павел Бунин, который даже рискуя быть побитым, ради красного словца на щадил никого, не говоря уж о безответных тугодумах-туземцах, — и они платили нам тихой ненавистью.

Учительница Крутилина тоже не скрывала своей неприязни. Ее любимой темой было превосходство человека земли — крестьянина над бездельником-горожанином. В “Железной дороге” Некрасова, которую мы тогда изучали, она особенно выделяла монолог автора и слова: “...и научись мужика уважать”. В ответ на этот демарш мы отказались заучивать наизусть эти стихи — и дружно получали двойки. Уже после нашего ухода в нашу собственную школу мы узнали, что Крутилина трагически и нелепо погибла: пошла по воду, выпустила из рук железную рукоятку ворота, и та, раскрутившись в обратную сторону под тяжестью бадьи, со страшной силой ударила женщину по голове...

Учительница истории — молодая женщина с жидким перманентом и каким-то на редкость несимпатичным лицом — служила постоянной мишенью

наших самых изощренных насмешек. Издевались мы над ней почти в открытую, впрочем, достаточно тонко, чтобы нас не поймали на оскорблении: задавали ей с самым невинным видом нелепые вопросы по изучаемому материалу. Она краснела, бледнела, заикалась. Туземцы с любопытством смотрели на это представление. Для бедной учительницы это была настоящая пытка. И все-таки нам никогда не было ее жалко: дело в том, что она была потрясающе, феноменально невежественна именно в преподаваемом ею предмете – истории. Мы же, ученики старого гимназического учителя, незабвенного Стрельцова, как раз этот предмет любили и знали достаточно хорошо. Впрочем, не надо было быть знатоком истории, чтобы изумиться таким перлам: “Германцы окружили римлян в Тевтобургском лесу и избивали их прикладами (!)”, “У рыцарей были плавучие замки” (на рисунке каменный замок окружен водой). Мы сначала подумали, что это просто оговорка, но Павел тут же поинтересовался, как понимать эти слова. Выяснилось, что в самом прямом, буквальном: каменный замок, со стенами и башнями, плавал по реке!

Однажды кто-то из туземцев без всякой задней мысли спросил, был ли Джованьоли, автор “Спартака”, современником описываемых в романе событий. “А как же, — последовал ответ, — иначе как бы он все это знал?” Мы были в восторге!

Можно заключить из моего рассказа, что мы просто огулом презирали все местное, сельское. Это не так. Учительницу физики, очень молодую пышноволосую женщину,

уважали все. Она никогда не повышала голоса, никогда не отвлекалась от темы урока, не позволяла себе ни одной попытки “неофициального” разговора с учениками. И все-таки на ее уроках были тишина и порядок, и скучнейший для нас, художников, предмет мы старались знать, чтобы не краснеть потом под внимательным и спокойным взглядом учительницы. Даже буйные “гестаповцы” проглатывали язык, едва взглянет она своими темными глазами, — что-то было в ней такое, что делало жалкими попытки побахвалиться, нагрубить, смешными — показать свое молодечество. До сих пор не могу объяснить, в чем тут было дело.

Этот первый год в Воскресенске я еще по старой привычке старался ходить в отличниках по общеобразовательным предметам. Но потом, по мере успехов “в искусстве”, это уже стало просто неприличным: “ты дурак, или отличник” – бытовала пословица среди юных художников. И, начиная с 3 (7) класса и до самого окончания школы в 1947 году я получал пятерки только тогда, когда хотел, т.е. по гуманитарным и естественным (биология и география) наукам. А по точным наукам в журнале напротив моей фамилии рядами выстраивались единицы и двойки. Лишь иногда, уступая маминым упрекам, я нажимал на какую-нибудь алгебру или геометрию, получал свою пятерку и снова успокаивался.

Пришлось даже выработать теорию о вреде точных наук для художника. Дискуссия с учителем на эту тему нередко отнимала значительную часть урока, пока, наконец, учителя не махнули рукой и не оставили меня и моего неизменного друга и соратника



"Райзо".

Бориса Крюкова в покое. Они уже знали, что домашних заданий мы не готовим (у нас даже тетрадей не заведено) и в школу мы ходим с пустыми руками. Это было позднее, уже в Москве, но началось в Воскресенске, на второй учебный год.

Мы учились уже отдельно от "туземцев", в своей школе. Постоянных классных комнат для этих занятий было мало – 2-3 в том флигеле, который пострадал от пожара, да кочевали по классам для занятий искусством. Сидим, бывало, на уроке математики и тихонько рисуем какую-нибудь Венеру или скелет, благо они тут же рядом стоят. Учитель, старый "Хибуля" с моржовыми усами, из себя выходит...

*Природа Приуралья в эпических масштабах и красках, огромная страна в ее грозный исторический час...*

*...Из разбросанных по всему селу общежитий собираются дети войны —*

*оборванные, в лаптях, в невыразимых самодельных пальтишках и куртках — в свой единственный, родной дом — в школу. Здесь пахнет красками, здесь библиотека с бесценными изданиями по искусству, здесь художники-учителя с фанатическим блеском в глазах рассказывают о великих мастерах прошлого, здесь постоянно сменяющиеся выставки лучших ученических работ, стать участником которых — высшая честь.*

*И над голодом, болезнями, утратами, над полусиротским военным отрочеством встает оно, недосыгаемо прекрасное и родственно близкое — Искусство!*

*...Постоянный голод, обмороженные лица и руки, тайные ночные слезы и страстная, исступленная вера в неизбежность Победы!*

*Уздалека*



*Все воспроизведенные в публикации работы Х.А. Аврутиса подарены им музею МАХЛ РАХ.*



*Брат.*

Владимир Анатольевич Иванов.  
Аналитическая композиция.

Атолл.

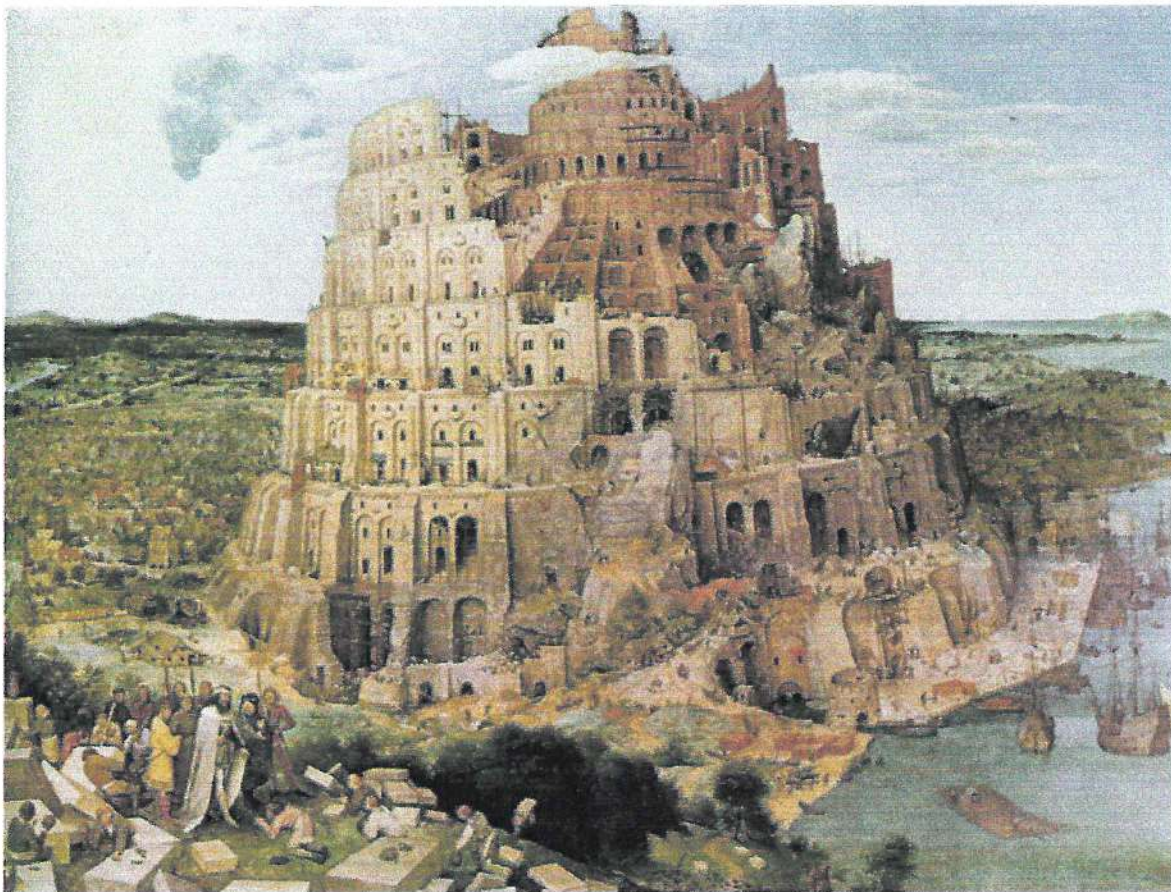
“Сам допер?”

П.Л. Бунин.

“Что же, все это народ сотворил?”

Н.А. Некрасов.

Вавилонская башня движется и не движется. Странная постройка в теле картины является скелетом в смысле твердости, но не опорой смысла. Центрообразующий элемент системы сам нуждается в оправдании принципом развития элементов в систему.



П. Брейгель. Вавилонская башня. 1563.

Работа каменотесов, “внизу, на пригорке”, оправдана строгим тщеславием воли господина Нимрода, что как-то сатирически продублировано неким церковником: тут рабовладельческий порядок и кладбищенский хаос “гранитного цеха”; тут и сказать больше нечего, тут и конец данному культурно-историческому слою в картине. Самоирония автора в подписи: “Брейгель” на одной из каменных плит - тому подтверждением.



Башня напротив, *напротив*, строится как тело, и, на первый взгляд, абсурден этот bodybuilding. Но рабочие места, технология и архитектура материально выражают внутренний смысл – дополнительное измерение к трехмерности уходящих в землю цивилизаций.

Что-то самое простое, но главное, представлено Вавилонской башней как непонятное и бесконечно сложное для внешнего наблюдателя. Башня, как вера, достигает заоблачных высот.

Только в эстетике Гегеля египетские пирамиды – самое простое и понятное, и не только с виду; но, как замечено, в ней все – с ног на голову: великолепно, но и вопреки очевидности.

Питер Брейгель Мужичкий увенчивает облаками Вавилонскую башню с той же основательностью, как нахлобучивает шляпы на приземленные фигуры своих мужиков.

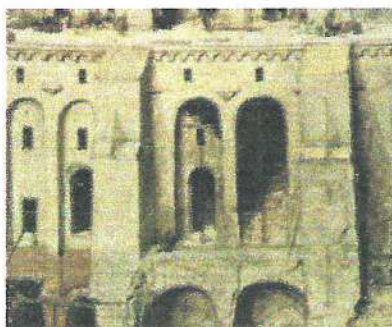
В небе, покрытом голубой соломой мелких горизонтальных штрихов, материальное эволюционирует. Амебообразно похороводив у верхних ярусов и не споря за пространство с материей камня, белесые сгущения, необратимо темнея в зоне тревожной метеорологии, ввинчиваются внутрь пластов небесной глубины,



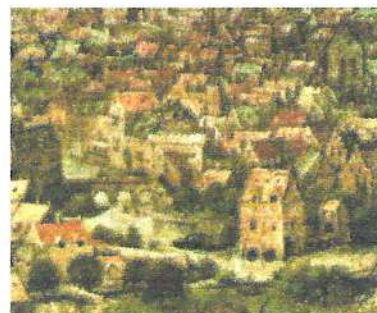
завоевывают заодно с третьим и четвертое измерение, и в следующей фазе мигрируют к краю

горизонта событий многоточием птичьего клина.

Крупный брейгелевский план – всегда фрагмент охоты с орлиных высот. Охватный взгляд сверху вниз, панорамно-фасеточное зрение, навязанное нам, рушит постройку, дробя единый процесс на протяженности эпизодов. Каждый сюжет мог бы породить картину Курбе или Милле, но нам – мимо. Время, как пчела, собирает свой мед с пространства, заполняя соты Вавилонской башни, которая, если и растет вверх, то только количеством упавших песчинок в песочных часах Времени.



Муравьиные ходы от слово-монументальных порталов ведут в микромир первобытной бесчеловечности. Малые голландцы предпочитали “голландские домики”.

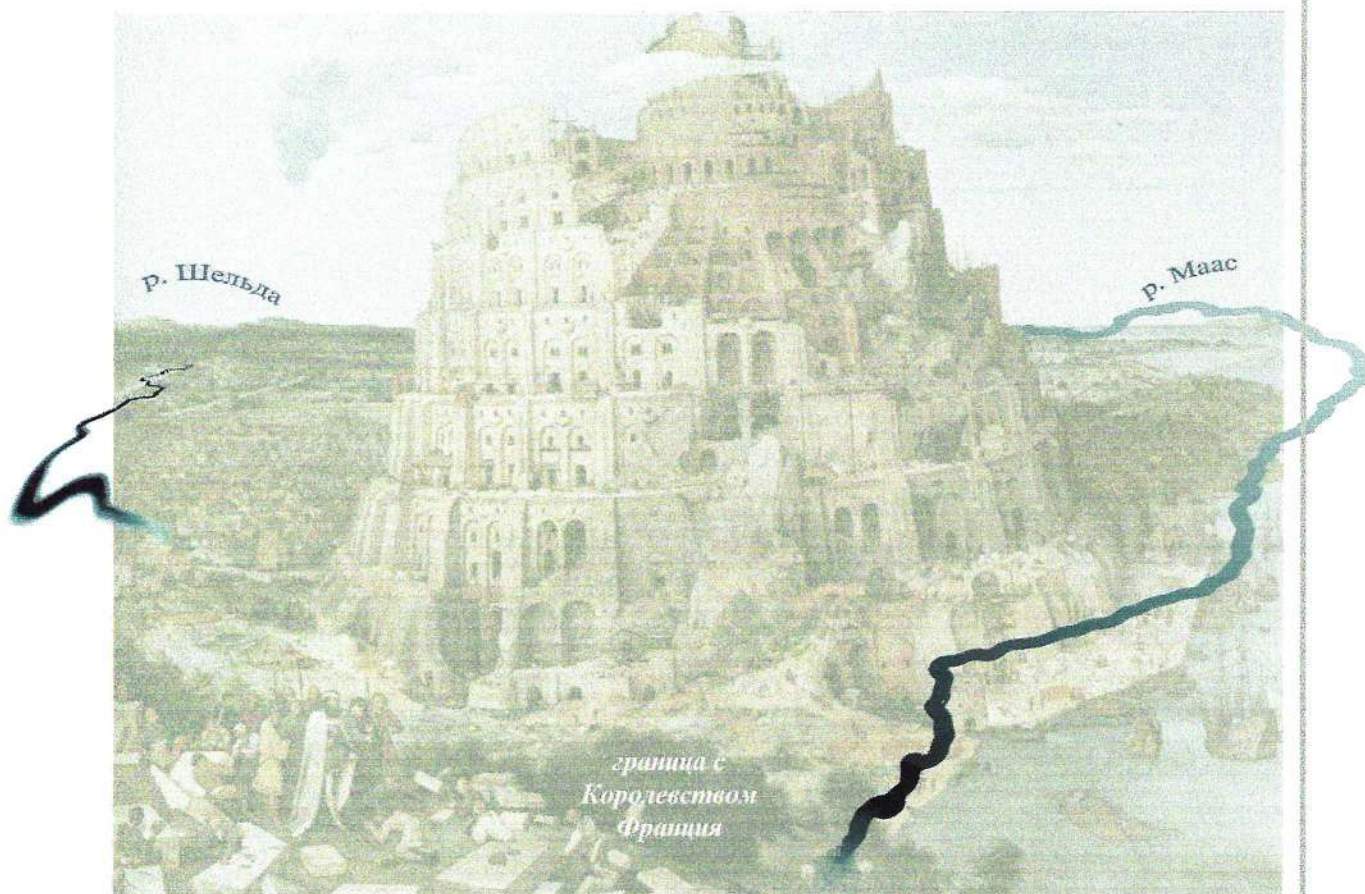


Рембрандт измерил человеческое масштабам брейгелевским, но при максимальном приближении своего магического света к таинственному обитателю пещерной тьмы Вавилонской башни.

А вот стиль раннего Рембрандта (это минимальная хронологическая дистанция) – с “ластмановских” кирпичных новостроек, максимально суетных, но гротескно вознесенных седьмым небом над уровнем житейского моря и дамб их родины. В итоге, и человек сей среды – искусственный; с приданным аффектированной мимики. Когда же является рембрандтовский естественный человек, возникает и новый рембрандтовский стиль – оба изнутри, *de profundis*.

Внутренняя опора “Вавилонской башни”, вещи-феномена, лежит на ее поверхности, и недаром все происходит в *междуречье Мааса и Шельды*, в границах третьей стихии, а не только между небом и землей.

24 февраля 2003 г.





## Письма Ляли Шегаль

Архив музея МАХЛ РАХ. п.27717 (1-31)

*Это письма Е.Г. Шегаль к отцу (Григорию Михайловичу) и сестре из села Воскресенского (Башкирия) в Москву, 1942 - 43 г.г. Как попали ко мне, не помню.  
Л.А. Шитов, выпуск 1943/44 года. Март 1995 г.*

20. 10. 42 г.

Это письмо читай вторым.

“И если я их не сделал, проступки, то это не совесть помешала их осуществлению, а отсутствие такой громадной силы воли и смелости, как у Самсонова”. Стало быть, Генка отличается от других не степенью падения, а избытком смелости (это, пожалуй, правильно). Но ведь это значит, что нужно всех девятерых поставить перед собранием, как стоял Генка. Не могу объяснить почему, но это была бы чудовищная несправедливость, Потом много и хорошо говорил директор, потом глупо и скучно - Михайлов, потом преподаватель - Добросердов. Потом несколько раз выступал Вас.Вас., и когда настроение в зале стало напряженным, а языки развязались - директор предложил такую вещь: “Всем ясно, что дальше так продолжаться не может, что это собрание должно решить судьбу школы, и пусть мы просидим здесь до утра, но уйти отсюда мы должны честными, или школа должна быть распущена. Поэтому предлагается всем, кто в чем-нибудь, когда-нибудь проявил себя нечестным, встать и публично сознаться”. Еще не успел он договорить фразы, как в президиум вскочил председатель учкома, член комитета Коля Гончаров. “Я присутствовал при краже сахара Самсоновым, хотя отговаривал его от этого, но после сам ел краденый сахар. Я ходил 2 раза на огороды. Я ел краденый творог. Больше этого не будет!” За ним Люська Шитов, Гелька Коржев, Моня Миркин с Костей Карамяном (они действовали на пару), Витька Будихин и еще кое-кто. Потом стал говорить директор. Здорово говорил! После его слова всех как будто прорвало. Принесли

старое московское опозоренное знамя нашей школы. Один за другим вскакивали ребята и, рассказывая о своих проступках, заканчивали одинаково: “Клянусь, что этого больше не повторится. Отличной работой и учебой заглажу свою вину!” Некоторые брали слово по несколько раз, вспоминая что-нибудь новое. Витька Будихин вспомнил, что вырывал из книг по искусству хорошие репродукции, и призвал всех ребят, делавших то же самое, вернуть их в школьную читальню, чтобы все могли смотреть. Совсем оригинальное признание сделал наш герой Овчаров, или “Цима”, как его все зовут (очень способный, но невероятно буйный парень с здоровенной глоткой). Он так сказал: “Я взял в столовой несколько тарелок и потом разбил их”. Спрашивают: “Как же это? Зачем?” Он краснеет, мнется, потом говорит: “Да так. Радио тут... Музыка как заиграла... Марши... и говорят там... “Смерть немецким оккупантам!..” Ну, я и ... трахнул их об пол... Ну, этого, конечно, больше не будет, постараюсь себя сдерживать. Ну и старшим грубить не буду. И клянусь перейти в 8-й класс.” (У него осенние переэкзаменовки были, и он было решил остаться на второй год.) Потом еще многие ребята клялись. Девчата сознались, что разломали изгородь на дрова. Потом вдруг вскочил приехавший недавно Бирюков и сказал: “Я здесь еще совсем недавно и сам не успел сделать ничего нечестного. Но я видел, как воруют мои товарищи. Почему молчит “Доротдел”? (Общежитие, где живут ребята нашего класса.) Я долго ждал, думал, они сами сознаются, но больше молчать не могу... И пускай они мне потом темную устраивают, но я должен все рассказать!”

Ну и тут открылся тот факт, что наши ребята очистили от тыкв все окрестные огороды, причем для удобства действий разделили их на участки, и каждый получил в свое пользование "земельный надел". Тыквы эти они собрали в одном месте на хранение и брали оттуда "по мере надобности". Но тут заговорили "доброотдельцы": Женька Лобанов, Андреев и Ануфриев, Сашка Фомкин. Тогда выступил Максютков (наш лучший живописец и хороший парень) и заявил, что Бирюков поступил подло, выдав товарищей, пусть бы они сами сознались.

Сам он рассказал обо всех своих грехах и замечательно трогательно и просто заговорил о необходимости сделать школу образцовой и о своих обязательствах по этому поводу. Потом очень хорошо говорила Роша Натапова. (Она почему-то родилась девчонкой, это явное недоразумение. У нас про нее говорят: "Рошка - хороший парень". Или, если ругаются: "Рошка - дурак". И многие девчонки стесняются с ней в бане мыться.) Она со слезами, горячо защищала Бирюкова, и это было очень важно, что именно она, а не другая девчонка, ведь у нее все понятия, в том числе и о товариществе, чисто мальчишечьи. Под конец, по-моему, многие ревели, я - так в три ручья, благо было темно, особенно в задних рядах (освещались двумя коптилками). Когда все высказались, директор взял знамя, и все встали, и в торжественной тишине он поклялся сделать школу образцовой. Я от слез ничего не видела. Потом стали у знамени все педагоги, хозяйственники, мощной толпой нахлынули ребята, многие просто молча целовали знамя, некоторые, подходя к знамени, говорили: "Я украл тогда-то и то-то и то-то. Клянусь всеми силами помочь дирекции сделать школу образцовой". Расходились молча, торжественно. Я еще долго не могла успокоиться. А на завтра началось: я, почти не выходя из дому (был выходной), а и то успела почувствовать перемену во всех ребятах. Можно было наблюдать такие сцены: мечется Коля Гончаров и спрашивает у всех: "Не

видали ли Катю Шиллинг?.. Понимаешь, я у нее давно еще ложку стянул, так теперь мне нужно отдать!" Или: встречает педагога уборщица из общежития, совершенно растерянная и сбита с толку: вчера, в выходной день, она вымыла в общежитии полы и убрала все и, можете себе представить, приходит она на другой день и застаёт все в том же идеальном порядке, как и день назад! Вещь, конечно, совершенно непостижимая. Или: иду я к Лорке в изолятор и вижу: около одной избы хлопчут несколько наших ребят: заваливают землей завалину, колют дрова, что-то прибывают, исправляют - обслуживают семью фронтовика. Меня встречают незнаемыми, обновленными лицами. Здороваются. Улыбаются. В изоляторе я села писать пейзаж из окна. Вдруг приходят по очереди те же самые ребята: Сашка Завьялов, Коля Гончаров, Люцик, Миша Голубенков. Оказывается, у них перерыв, и они зашли навестить больных, чтоб им не было скучно. Один направляется к Лорке, другие заглядывают в мальчишечью комнату, где писала я (больных мальчишек не было). Увидев, что я занята, бесшумно скрываются или робко просят позволения посмотреть мой этюд. Получив отказ, не злятся, а понимающе кивнув головой, скрываются. Это только то, что видела я, т.е. почти ничего, т.к. я не была ни в столовой, ни в общежитиях, ни в школе. И вот теперь нужно сидеть дома! Да еще ничего не делать!.. Я тебе еще не дописала про Лену Колобаеву, После того, как выяснилось, что она сошла с ума, ее поместили на ночь в изолятор. Лорка перешла в мальчишечью палату, а Лена осталась в девчачьей. Всю ночь она орала, пела, смеялась, стучала, - словом, проявляла все признаки буйного помешательства. Утром все это приняло еще более буйные формы. Она пыталась драться, запустила в сестру помидором и кружкой, дико вопила и распевала 7-ую симфонию Шостаковича. Вся стена над ее кроватью оказалась исписана приблизительно следующим образом:

“Акинтин Петрович” (имя ее преподавателя) - это аршинными буквами у самого потолка. Дальше: “Екатерина Павловна ура! Еще Отцу и учителям. Жена. Райка. А я не дура. Кларка. Спасибо народу Никите. Муня Аврутис. Спасибо. Живописец. Только не теперь”. Утром ее отвели в больницу, и теперь она наводит там страх на больных и докторов (одного она исцарапала). У Кларки от всех этих переживаний обострился прежний мозговой процесс, и ее спешно увезли в Уфу, лечиться.

Да, я тебе совсем забыла сообщить об окончательном решении директора по делу Самсонова, настолько собрание перешло в общественное покаяние. Директор сказал, что оповестит об участии Самсонова в приказе утром. А т.к. он очень упорно настаивал на беспощадности в решении этого вопроса и резко нападал на защитников, то все были уверены, что дело кончится исключением из школы и передачей этого дела в Нарсуд. (Как было и с Ивкой, только за меньшие провинности). И вдруг директор встает (это уже после ребят, когда у всех было до слез хорошо на душе) и говорит: “Я принял следующее решение по делу Самсонова. Ввиду поворота всей школы на новый путь, оставить Самсонова в школе на месяц, с тем, чтобы он упорной работой загладил свою вину. Поручаю Самсонову в ближайшие дни овладеть управлением киноаппаратурой, с тем, чтобы он заменил ушедшего сегодня в армию школьного киномеханика”. Ох, Наташка, что тут было! Ведь более мудрого решения и Макаренко бы не придумал. Именно то, что надо! И вообще, как здорово провел директор собрание! Наташка! Пришел папа и принес твое письмо и несколько учебников. Это не менее приятно и трогательно: учебников у ребят мало, а мне все же дали, да еще обещали зайти ко мне навестить. 1000 раз благодарю за посылки.

18.XI.-1942г.

Милый мой пусь!

Мы совсем заждались твоего письма. Уж я сегодня от Софки получила письмо, где она говорит, что видела тебя и была у нас в квартире, а от тебя все еще ничего нет. Мама пишет тебе так много, что ты, наверное, уже все знаешь, а мне вроде и писать нечего. Хожу в школу, делаю уроки, когда случается свободная минутка, пишу дома. Т.к. у нас теперь живут Мандрусовы, то возможности в смысле природы, сильно увеличились, правда писать обоим девчужкам почти невозможно, - они совсем не могут сидеть, ни та, ни другая. Все же я начала этюд со. старшей и два - с младшей. Погода сейчас мерзкая, и хоть не очень холодно, но ветер и снег не дают писать на улице. Я пыталась вчера написать пейзаж по памяти, но, конечно, ничего не вышло. Очень пугает меня необходимость заняться композицией. Я уже пробовала что-то помарать, но только лишний раз убедилась в своей беспомощности. С живописью, кажется, дело обстоит немного лучше, по крайней мере Вас.Вас. меня все время хвалит. Пишем мы все ту же девчонку в красной кофте. Я прихожу в ужас от того, как пишет наша подгруппа. Просто как сговорились, и соревнуются - кто кого хуже. Из другой подгруппы приходят и поражаются. Правда, может быть, оттого так, что в школе почти не дают красок, а постановка очень сложная, и теми 5-6 цветами, которые нам выдают, ее не одолеть. У большинства своих красок почти нет, вот и изворачиваешься, как знаешь. Ну, а я теперь “капиталист”, может, от того и выходит лучше, чем у других. Во второй подгруппе народ малость побогаче (не все, конечно), и пишут там много лучше, хотя ребята там считаются слабее наших. А в общем, я совсем запуталась. Знаю, например, что Женя Ануфриев сильнее Гали Зобниной или Нинки Жариховой, а пишет он сейчас хуже их. Фомкин пишет хуже Меренко! Об Андрееве даже говорить не хочется. А сегодня была такая сцена: на перемене около моей

работы скопилась толпа ребят из других классов, я сидела тут же и слушала, как они хвалят этюд, недоумеваю, почему они не стесняются меня. А потом выяснилось, что они считают автором... Стручкова, которого, действительно, в классе не было. Я не стала выводить их из приятного заблуждения. Сегодня мы хоронили мать Тамары Осиповой.

Папусь, пиши мне, пожалуйста, много-много, и главное, отдельно. А то мы с мамой никак не можем сговориться насчет твоих писем, ей не хочется, чтобы я читала письма, адресованные ей, а я никак с этим не могу примириться, т.к. подозреваю, что ей ты будешь писать больше и подробней, чем мне, а знать обо всем мне хочется ничуть не меньше мамы. В общем, мы делим шкуру неубитого медведя (ведь письма-то еще нет). Посылки еще не приходили. Говорят, что из Верхотор скоро прибудет роаль. Ждем с нетерпением. Пиши, пиши, пиши.

23.II.42 г.

Здравствуй милый папусь!

Только написала первое слово, и сейчас же опрокинула на скатерть чернильницу. Из этого ты можешь заключить, что у нас все в порядке, жизнь идет своим чередом, как прежде. И конечно же, мама вскочила со своего ложа и устроила шумовое оформление этому событию. Я понуро стащила скатерть со стола и начала ее стирать. По мере того, как скатерть отстирывалась, шум постепенно утихал, и, наконец, горизонт совершенно прояснился. Так что можно продолжать без особых помех. Сегодня я получила первое твое письмо, которое ты назвал почему-то "вторым", то ведь было мамино письмо, и я даже не могла влезть в него без мамы, а представляешь мученье, отсидеть 7 уроков с письмом в портфеле и не сметь его вскрыть. Так что ты, если будешь посылать два письма в одном конверте, адресуй их хотя бы по очереди: то на меня, то на маму. И не забывай писать мне отдельно и в отдельном конверте. А за сегодняшнее письмо огромное

спасибо, оно меня очень обрадовало и содержанием, и объемом. Мы подышали со смеху, читая твои дорожные приключения; удивительно, как один и тот же факт может вызвать совершенно противоположные чувства: тебе-то наверно совсем не было весело сваливаться в ледяную воду. Но хорошо то, что хорошо кончается. Ты в Москве и рад, а это самое главное. Тут мне все внушают, чтобы я просила тебя хлопотать о вызове школы в Москву. Все, от Галины Николаевны до самого последнего ученика. И каждое твое письмо сопровождается градом вопросов: "Ну как?", "Ну, что пишет?" и пр. Причем все отчего-то думают, что ты ни о чем другом, кроме вызова школы, писать не можешь. На днях ребята 24 и 25 годов рождения составили письмо в родительский комитет, где в сгущенных красках описывалось бедственное положение наших учеников, и всеми способами доказывалась необходимость переезда в Москву. Самый дух письма был очень подлый и недостойный, - ничего хорошего, только плохое, как будто они брошены на произвол судьбы и гибнут медленной смертью от голода, холода и тоски по родным. Одно, все-таки, там заслуживает внимания (и из-за этого одного стоило бы вызвать два старших класса в Москву), а именно: в мае 10 и 11 классы призывают в Армию, и ребята, около 2-х лет не выдавшие родителей, могут их никогда уже больше не увидеть. Ну и еще всякие неполадки есть: в общежитиях хоть и установлен порядок, но дрова привозятся неаккуратно и в недостаточном количестве, так там собачий холод. У большинства ребят (а у старших, так почти у всех) нет валенок и даже калош, так что на занятия приходят они в драных ботинках и мерзнут в нетопленных классах нещадно (в общеобразовательной школе у нас так же холодно, как и на улице, только ветра и снега нет). Питание опять сильно ухудшилось, кормят нас преимущественно картошкой и капустой во всех видах. И Райка очень часто

вздыхает о том добром старом времени, когда она питалась дома, хотя, ты знаешь, особым разнообразием их меню не отличалось. Это вот действительное положение дел, ну а письмо - дрянь. Но тут важна не форма, в которой все это изложено, а суть. А суть одна: хорошо бы до весны, а лучше до января, перетащить хотя бы два старших класса, а если возможно, то и всю школу, в Москву. И ведь все-таки, сколько ни говорили нам о пользе деревенской жизни для художника и прочее, а сейчас стало видно, что время "пользы" уже прошло, и сейчас настал "вред".

Не знаю, можно ли этим объяснить резкое снижение по живописи, особенно у нашей подгруппы, но несомненно, что композиция пришла в полный упадок именно от долгой изоляции от города, от жизни. Ты, папуть, помнишь, какие заманчивые условия конкурсов огласил нам Карренберг на том памятном собрании. И что же: ни одной композиции даже от таких мастеров в этом деле, как Захаркин, Котляров, Бабицын, Годин. Наоборот, о композиции все думают как о чем-то скучном и невыполнимом. Да и правда, сколько можно писать композиции на тему "Отечественная война", сидя в деревне и не видя даже людей, которые могли бы рассказать о ней, ни даже каких-нибудь "киносорбников" (тоже ведь материал). Я думаю о композиции с особым трепетом: она угрожает моей будущей стипендии. Я уже обеспокоилась заблаговременно, но вряд ли что получится, хоть я буду сидеть над ней три года: я же ничего себе не представляю из того, о чем должна рассказывать композиция. Папуть, ты все пишешь о моей учебе и о стипендии. И я озабочена тем же, настолько, что даже запуталась в собственных мыслях и, наверное, не представляю себе истинного положения вещей. Я так много писала тебе об этой несчастной "девочке в красной кофте", что мне уже противно о ней вспоминать, да и ты, наверное, осуждаешь меня за безудержное хвастовство. Но что мне

думать и делать, если мне все говорят об этом. "Все" - это не только наши девчонки, которые вообще много всяких вещей говорят, я на них бы не стала обращать внимания. Но, представляешь, приходит в мастерскую какой-нибудь Китаев или Карамян, а, увидев, что я перешла на другую натуру (было такое дело), набросились на меня с бранью: "как я смела бросить такой хороший этюд" и тут же устроили "общественный просмотр" этой несчастной работы, причем собралась кучка "ценителей", и даже какой-нибудь Терещенко почел своим долгом выразить мне свои восторги... Да, я, кажется, не буду больше продолжать эту работу: знаменитую красную кофту выстирали, и она стала такого нестерпимо ядовитого цвета, что расстроилась не только вся цветовая гамма, но и вообще, даже если б у нас были самые лучшие заграничные краски, и тогда нельзя было бы передать этот цвет, не переписав заново всего остального. А переписывать все и поздно и неинтересно: красный цвет бьет в глаза, и больше ничего не видно. Последний раз я пошла писать в другую подгруппу и прямо отдыхала там - настолько лучше пишут эти ребята. О нашей подгруппе говорят, как о каких-нибудь прокаженных, настолько всех удивляет такое резкое снижение. Впрочем, и та подгруппа, хоть и намного лучше нашей, но особенно тоже не блещет. Зато совсем почти выровнялись по среднему уровню Валька Варенко, Нинка Жердь и, особенно, Галя Зобнина. Поставлена там деревенская женщина на фоне пестрого платка - такое обилие всяких цветов. А на палитрах такая бедность! Перед началом урока там наблюдается такая картина: от мольберта к мольберту ходит с палитрой Сашка Суханов и ему подобные. И каждый уделяет им из своих "средств" посильное вспомоществование. Тем и живут. А кисти делают из флейц и гусиных перьев. Нужно закругляться. Целую крепко.

Пусть, сегодня, кажется, уже 25-ое, а начала это письмо несколько дней назад и все не могла опустить: была

метель, да и ящик сняли. Мы только вчера узнали о событиях под Сталинградом, с опозданием дня на 4 – Приказ, по обыкновению, не давало радио. Теперь-то уж и я к тебе пристану насчет вызова, ты уж постарайся там, пусь! Мама тебе уже писала, что было бы хорошо поселить Наташку с тобой, как у вас разрешился этот вопрос? Верно, она уже у нас! Целую много раз и жду многих писем.

2 декабря 1942 г.

Чудный мой папусь!

Сегодня получила от тебя письмо такое толстое, что глаза радуются. Охаем и ахаем с мамой над твоими дорожными приключениями. Как хорошо, что все это кончилось. Пусь, я совсем не виновата в том, что ты не получаешь до сих пор наших писем - это письмо, кажется, четвертое, а ты мне написал только два (я не считаю "маминых"). Ну, хватит ворчать, лучше о школьных делах. Николай Августович получил вызов и 6-го декабря отправляется в Москву, главным образом хлопотать о вызове туда школы. Вот хорошо было бы, если бы вы объединенными усилиями... ну, да ты сам знаешь. 29-го ноября кончилась первая четверть. Рассматриваю ее с точки зрения стипендии - не совсем удачно. По математикам у меня вышел "хор", и не по моей вине, мне себя не в чем упрекнуть, я все знаю, да уж так вышло. Учитель сказал, что пока он с нами хорошенько не ознакомится, "отлично" ставить поостережется. Вот и получили все прежние отличники "хоры" по математике. Впрочем, им, прежним стипендиатам, это ничем не угрожает - стипендии решено в этой четверти не пересматривать. Я тоже как будто рада - к концу полугодия постараюсь натянуть. Завтра нужно подавать работы на зачет. Вот, что у меня есть к зачетам: тот натюрморт с тыквой, большая основная работа и быстрый этюд с другого места (Буланова говорит, что он очень красив в цвете), пейзаж с лошадью и воротами, который я написала, кажется, еще до твоего отъезда. Классная основная

работа - та самая девчонка в красном (кстати, я последний раз вытерла ее о свое пальто, а из этого следует два следствия: во-первых, мне придется работу переписывать. А во-вторых, тебе придется по промтоварным карточкам в первую очередь покупать мне материал на пальто, мама уж напишет, какой). И два кратковременных этюда с нее же. Этюд с четырехлетнего Мандрусенка (я его вчера докончила, несмотря на невозможные условия). Этюд с Гали Мандрусовой в красном шарфе (его я тоже закончила). Недоконченный этюд с нее же, в постели. Сегодня я начала на твоём длинненьком холстике этюд с ее фигуры во весь рост, в капут-*<мортuumном>* халатике китайского фасона, на фоне печки, в красных шлепанцах и красной тесемочкой в вороних волосах, Красота по цвету неопишуемая. Пишу в профиль, немножко сзади. Ко мне присоединилась Надюшка Усачева. Потом есть у меня этюд с лошадью и забором - по памяти. Но показывать его явно не стоит. По рисунку - скудность ужасная, да и то сказать, жалко же тратить на рисунок те 40 минут светлого времени, которые остаются у меня после школы, и то, далеко не каждый день. Итак мои рисуночные ресурсы заключаются в двух головах: Алика Кара-Иванова и Гали М., из них первую я не рискну показать. Над композицией я хоть и потею, но ничего путного не высидела и не вижу никакого просвета впереди. Впрочем, у других еще ничего нет, и не начинали (композицию сдавать не завтра). Очень не хватает материала под рукой, и газетного и по искусству, так что если выяснится, что мы здесь засели до конца года, пришли мне в бандероли хотя бы Делакруа. Там уж сам сообрази, как будет лучше. Чтобы можно было поучиться. А если можно, пошли что-нибудь по рисунку, чтобы можно было и читать с пользой, и смотреть, и копировать. Кажется, у нас было что-то вроде руководства, или учебника, с хорошими репродукциями. Если есть дешевые издания, пришли Ренуара или вообще французов (Сезанн

есть у Булановой, Ван-Гог - тоже). Если есть - Крамского. Если же окажется возможность вызвать школу зимой, посылать, конечно, не стоит. Письмо, Ты пишешь о Наташе Файдыш. На днях, как раз, мы узнали, что она - студентка Изоинститута. Если будешь ее встречать еще, передай самый горячий привет и попроси ее написать мне о своих делах и живописных успехах. Напиши мне сам об институте, предполагаются ли занятия в этом году, как и где они будут происходить. Мама спрашивает, отапливаются ли Ваши мастерские? Посылки наших все еще нет, а мне уже нечем рисовать. Да, совсем позабыла - позавчера вечером я рухнула в подвал на кухне. Сильно разбила затылок и некоторые прочие части тела. Неразбитой осталась только чашка, которую я не выпустила из руки во время падения. Мама все беспокоится, как бы я не стала душой, и ставит это в какую-то связь с необходимостью лежать в постели, хотя я еще не совсем уж дура. Пришлось, однако, пропустить два дня школьных занятий, на будущее у меня самые радужные планы: обещала позировать Катюша Шиллинг, есть виды на Тасю Скородумову.

Милый пусь!

Сегодня получили твое письмо и телеграмму. Мама у нас просто ясновидица - еще до получения телеграммы твои работы были запакованы и ждали отправки в Москву. Очень буду рада получить что-нибудь по искусству, жаль, что не пишешь, какие книги посланы. Ну, да скоро сама увижу. Письмо, у меня есть чем тебя порадовать. Я получила "отлично" по живописи за первую четверть. Сергей Павлович говорит, что 2-3 моих работы будут отправлены в Москву на выставку, в том числе и тот "прощальный" натюрморт, не знаю только, большой холст или маленький этюд, кажется, большой. Так что твое любопытство будет удовлетворено вполне, сам увидишь. Меня это тоже очень радует, особенно потому, что я узнаю твое мнение о моих

работах и о том, заслужила ли я такой отметки.

Значит, зря я мучилась всякими сомнениями: ведь с давних пор привыкла себя считать самой слабой и неспособной, а тут вдруг мне кажется, что моя работа лучшая в подгруппе, да и все говорят то же. Все-таки я решила под конец, что это мне только кажется, и что я по своей косности не умею находить достоинств в чужих работах. И вдруг - "отлично". Я, кажется, больше ошеломлена, чем рада. И потом, я все думаю, что выбилась на поверхность, потому что опустили на дно другие. И правда, я смотрела все, что сдавали ребята нашей подгруппы - очень мало, почти одни классные этюды. У меня набралось больше всех. Многие очень снизились: Натка Сапожникова, Надя Усачева, Т. Осипова имеют теперь по живописи "хорошо". Гале Зобниной (и, на мой взгляд, совершенно несправедливо) поставили "пос", хотя она намного выросла за это время. "Отлично" имеют Кира Бахтеева, Саша Суханов и Абрам Ницберг.

16 декабря 1942 г.

Милый пусь!

Совсем не знаю, как это получается, что ты не получаешь наших писем, даже писать расхотелось - что толку писать на ветер. Ну, авось, что-нибудь да дойдет до тебя. И то утешение.

Только вот похвастаться мне нечем: со времени последнего письма я почти ничего не писала, но и себя мне упрекнуть не в чем: в классе у нас теперь вместо живописи композиция. Много времени уходит без толку: нарисуешь все дома, хочешь в классе начать писать, а нет, нужно ждать, когда придет Вас.Вас. (а он теперь ведь очень занят), пока он обойдет всех, посмотрит все работы, да пока будет смотреть мою бумажку, так и проходят все четыре урока (правда, первые полтора часа темно, и вообще ничего делать нельзя). Уже несколько дней прошло таким образом. Я обозлилась и начала писать композицию дома. Теперь я уже не так мучаюсь, как

прежде, как будто немножко наладилось дело. Не знаю только, что из этого выйдет. После лихорадочных скачков с одной темы на другую я остановилась, наконец, по совету Вас.Вас., на той, где изображается встреча раненых бойцов, едущих с фронта, со всяким народом, на одной из дачных станций. Помнишь, я взяла ее еще в прошлом году, весной, а летом сделала крохотный набросок маслом на бумажке. Только там была очень скучная композиция - две параллельные полосы: народ и вагоны. Теперь она выглядит примерно так... Ох, хотела я тебе начертить, да теперь самой стыдно смотреть на эти каракули. Лучше не пытайся разобраться. В общем, разница в том, что железнодорожный состав дан в сокращении, а люди стоят на первом плане на земле, на втором - на платформе. Темнеет сейчас так рано, что после школы писать совсем нельзя, а писать очень хочется. Скорее бы началась постановка в классе. Сегодня получили вторую посылку. Бандероли все нет. Школа лихорадочно готовится к Новому году маскарэду. Пиши Ляля.

Милый Гриша!

Получила твой второй денежный перевод: большое тебе спасибо. Больше денег пока посылать не надо. Мы получили, наконец, посылку, и я буду стараться реализовать вещи. Хотя они сейчас спроса и не имеют, но если не дорожить, то можно все-таки кое-что сделать. Целую тебя крепко.

24.12.42 г. Воскресенское.

Милый пусь!

Наконец-то ты получил часть наших писем! А мама тебе уже кучу утешительных телеграмм отправила. Сапожникова утешь: и чадо его, и жена - живы и здоровы, пишут ему и на телеграммы отвечают, все дело в почте.

Приношу извинение за молчание, правда, не слишком долгое. Уразумей: вторую четверть устроили меньше месяца, не успели сдать зачетов по первой - будьте ласковы сдавать за вторую. А мне отметки теперь особенно важны, - я все не перестаю думать о

стипендии. Главное - что даст композиция. Последнее время нам предложили делать ее в классе, и я тебе писала, что из этого мало что вышло: под видом старательных розысков материала читали газеты, журналы, вообще посторонние книги или учили уроки. Наконец, мне разрешили работать дома. Оно конечно, дома тоже работа не слишком "продвинулась", много раз переписывала, возвращалась к старому. Сегодня, наконец, поставили натуру, на три сеанса, голова мальчонки. Ничего особенного, но писать очень приятно - соскучилась по нормальной живописи. Еще было бы лучше, если б вместо девочек в нашей аудитории писали мальчишки. А у нас теперь это два враждующих лагеря и вместе они никогда не соединяются. Я уже писала тебе, что последнее время работала в мальчишечьей подгруппе и очень привыкла к ней, а главное, мне нравилось, что во время уроков там абсолютная тишина, ничто не отвлекает от работы. А тут просто ад, стрекочут целый урок, и как только пишут они там при таком шуме! Дома я доканчивала начатый еще в первой четверти этюд с Гали в постели и написала новый, с нее же и в постели же, только побольше размером и в другой одежде. Писала давно начатый этюд "стоячей Гали", но сейчас тот халат, в котором она позировала, "реализован" ее маманей во что-то съестное, и вещь осталась недоконченной. Все-таки я хочу поставить ее еще разок в чем-нибудь подходящем, чтобы дописать лицо и фон.

Пусь, ты напрасно меня упрекаешь в "халтуре". Это я насчет смерти Тамириной мамы. Я ведь думала, что тебе об этом уже написала мама - она ж очень часто тебе пишет, а это событие общешкольного масштаба.

Умерла она, можно сказать, внезапно, заболела (что-то там застарелое с желудком) и через 6 дней скончалась. Тамарка и Галя Зобнина эти дни почти не выходили из больницы (а у нас тогда чуть не каждый день были послепраздничные танцы, пока не уехал



баянист). Телеграммой вызвали из Армии Тамариного брата (мужа той Тамары, которую ты писал). Тамара, конечно, очень плакала, тосковала. Первые дни девчата установили дежурства у нее на дому, чтобы она не чувствовала себя такой одинокой. Через пару дней после этого события Галя и Тамара пришли ко мне. Тамара уже была вполне спокойна, даже смеялась. Смотрела мои работы и оставленные тобой фотографии с Веласкеса и пр.. На Тамару очень подействовало то, что ей выставили после летнего “отлично”, “хор” в четверти. Сама она несколько изменилась. Но ей помогает ее обычная жизнерадостность. Она долго не ходила в школу, и теперь ей приходится усиленно нагонять класс. Ребята наши передают тебе привет, особенно Женя Ануфриев. Он, видно, очень по тебе скучает, а как-то сказал, что с твоим отъездом в школе стало пусто. Бандероли я все еще не получила, с каждым днем теряю надежду увидеть ее когда-нибудь вообще. А это очень досадно будет, если она пропадет, мне так нужны сейчас книги по искусству! У нас после телеграмм Николая Августовича все уже в ожидании отъезда, боюсь, что всполошились слишком рано. Мы с мамой коренные скептики и ни в бога, ни в черта, ни в Николая Августовича не верим...

А Наташка Файдыш действительно поступила в Институт? Почему она, однако, очутилась в том помещении, где работают дипломники? Да, напиши мне пожалуйста, кто и над чем работает сейчас в Москве (это я о дипломниках) и что у кого получается.

О самаркандских дипломниках также жду подробного рассказа, и не только о твоих “птенцах”, - вообще обо всех. Как бы хотелось увидеть их работы! Пусь, спешу поздравить с Новым годом! Впрочем, письмо наверняка запоздает. Целую крепко. Жду писем. Ляля.

Тебе, конечно, куча приветов от всех, в частности от Евд.Сем. Булановой.

Милый мой пусь!

Получила сегодня твое письмо. Ты все пишешь о близком отъезде, о том, как мы, должно быть, ног под собой не чуем от счастья и т.д. Если б это было так. Никакого оживления эта радостная весть не вызвала - возвращение в Москву понимается всеми не как неожиданное, невозможное счастье, а как единственный возможный выход. А вслед за этим известием у ребят исчезли последние признаки жизни и человеческих чувств: оказалось, что нужно еще полтора месяца ждать, ну и законсервировались совсем люди. Вот вчера у нас был Максютов, мы много с ним говорили о школе. Он рассказал про свое общежитие - “Райсовет”. Красок почти ни у кого нет, живопись, как предмет отменен. Зато нас яростно накачивают композицией и рисунками, но ничего не могут сделать. Ребята из мастерской А.О. Барща отказываются с ним заниматься. Самого Максютова вышибли уже за это (и многое другое) из школы, теперь он даже еще не восстановлен, при первом же проступке вылетит уже совсем. Он, впрочем, дорожит школой, решил начать заниматься, но ведь ты знаешь, как он будет это говорить, не подозревая себя в грубости. Он вчера рассказывал самым серьезным, невинным тоном о своих столкновениях с Александром Осиповичем и не понимал, почему мы все катаемся от смеха, - настолько он уверен в своей сдержанности и обходительности. В общежитии повальная лежка. Фанатики живописи, правда, делают отчаянные попытки раздобыть любыми способами белил, но это редко удается. Знаешь, пусь, не могу я смотреть, как мучаются от “безбелилья” такие ребята, как Суханов и Макс, даже мама вчера сказала, не вытерпела и сказала, чтобы я дала Максу белил. Ой, как он был рад! - “Еще целых три дня писать смогу!” И Сашке тоже дала начатый тюбик. (Он мне давал не раз некоторые редкие краски, когда ему присылала их судьба в виде выжатого уже почти до конца тюбика, покрытого

вековой пылью.) Он от восторга даже дал клятвенное обещание сдать общеобразовательные предметы в ближайшее время. Только он что-то заболел. Да, тут у нас Женя Ануфриев чуть было не загнулся совсем. Несколько дней лежал с температурой 40-41°, мы уже перепугались, думали, не выздоровеет. Но ничего, он как-то в один день почти поправился, позавчера я была у них в "Доротделе", он уже совсем хорошо себя чувствовал, только ходить не мог и похудел страшно.

Кстати, ты вот пишешь о пригласительных билетах: разве ты забыл в Москве, что на свете есть неблагодарные люди, и наши ребята самые яркие представители этой группы. Здесь ты часто повторял эту истину. Впрочем, не все не откликнулись из неблагодарности и черствости: вот Женя Ануфриев и рад бы написать, да совесть не позволяет, - не работает, стыдно. Только, пусь, он не от лени не работает, у него там очень сложный механизм, я не скоро поняла, раньше все ругала его за бездействие, он говорит, например, что здесь, в Воскресенском, он ни разу не работал по-настоящему, с увлечением, и объясняет почему: здешняя природа ему не нравится - мертвая, тяжелая (тут он подробно останавливается на всякой мелочи, сравнивая подмосковный лес с здешним, этого уж я не понимаю, а он знает лес и его живность, как леший). Лора все хочет разразиться письмом к тебе, да она ведь не так давно приехала и только теперь получила билетик. Сашка Суханов не мыслит себе, как это можно обнаглеть настолько, чтобы взять да и ответить профессору. От одних грамматических ошибок стыда не оберешься. Ну, хватит. Нужно идти в школу. Пишу полным ходом новый натюрморт на большом квадратном холсте. Начала писать Лорку. Помнишь, ты как-то начал меня писать в синем шерстяном сарафане с голубой вязаной кофточкой на фоне красного с желтым и серо-голубым ковра. Я вспомнила, и мне захотелось во что бы то ни стало устроить такую же постановку. С

большим трудом надела на Лорку эту одежду и с еще большим трудом уговорила ее мамашу разрешить ей мне позировать, за такую ее услугу с моей стороны. Начала на большом холсте. От работы получаю большое удовольствие. Вчера писала целый день: до обеда натюрморт, после - Лорку. Спешу замазать все холсты. Целую. Пиши еще. Ляля.

27.I.43 г. Воскресенское.

Милый мой пусь!

Вчера и позавчера получила от тебя сразу без передышки два письма. Это темпы! Умилили очень пригласительные билетки и, вообще, эта твоя затея, а то у нас тут такое стоячее болото.

Долго не хотелось жаловаться, да и сейчас не хочется, но уж очень погано стало. Я что, мне ничего, у нас дома рай, и можно отсиживаться в нем сколько угодно. Не знаю, что тут играет решающую роль: ожидание вестей из Москвы или паршивые местные условия, а может и долгое отсутствие Николая Августовича. Все сейчас настолько забралось в свои скорлупки и одичало, что даже не слышно протеста против плохого питания, например. Как-то со всем уже примирились, ничего вокруг себя не замечают. В общежитиях опять, конечно, идет варка и всякая готовка пищи, но уже без прежнего, летнего увлечения, так как-то, в полусне. Ребята в общежитиях почти перестали разговаривать друг с другом - лежат на койках и молчат, а некоторые предприимчивые люди, вроде Самсонова и Година, чтобы убить время, проделывают опыты над мышами и щенками, такие, что и писать противно. Занятия в школе последнее время идут нерегулярно - все зависит от дров. Большею частью бывают только специальные предметы, но и они часто пропадают из-за холода. Вас.Вас. все ругает нас за отсутствие горения или, по крайней мере, заинтересованности в работе. (Это больше относится к подысканию модели и к постановке



Ростислав Тофтул. Воскресенское.

натуры.) Карандаши у школы давно кончились, подбираются и краски. Многих уже нет. Это меня особенно удручает. Через день бывает читальня. Вчера я была там и не помню, как оттуда вылетела, шум, крик, смех, Овчаров вертится чертом вокруг стола, за ним носятся разъяренная Екатерина Пална, желая выставить его за дверь. Корнееву эта сцена доставляет видимое удовольствие, и комната оглашается его громовыми раскатами. Никаких лекций, вечеров и собраний, все как будто замерло. Да, забыла: развлечения все-таки есть, хоть и разнообразием не отличаются, это - субботние танцы. Можно сказать, что на них только и держится школа. Не знаю, что было бы без этой затеи: ребята совсем одичали бы, а то хоть есть гарантия, что раз в неделю каждый танцующий (а теперь их пропасть) вымоет руки, может быть даже и физиономию, постарается почище одеться, и вообще, один вечер будет чувствовать себя человеком. Только на танцах и узнаешь ребят, а в будни это какие-то питекантропы. Я все же боюсь, что танцы - не выход, когда-нибудь надоедят и они, хотя сейчас они -самое положительное явление в школе.

А в общем, пусть, то что делается у нас сейчас, совсем не похоже на лето и осень, тут ребята, по-моему, мало виноваты, ведь воровства сейчас нет, ссор и драк - тоже, даже в столовой все себя ведут очень мирно. Тяга к

настоящей жизни очень большая, достаточно малейшего толчка, чтобы ребята возбудились, стали похожи на людей. Это я на опыте установила. Вот сейчас я знаю, что делается в нашем "Доротделе" - скучно, тошно. Они меня долго звали к себе, я даже удивлялась, по<сколь>ку у них никогда никого не было. Оказалось просто: они рады каждому свежему человеку, а таких "свежих" в школе мало. Я пробыла у них целый день. Целый день смотрела книги, репродукции, их собственные работы, целый день они рассказывали о себе и о своем житье здесь и в Москве, причем в разговоре принимало участие все общежитие, вплоть до таких, как Ницберг и Лобанов. И никак не хотели отпускать, а когда я все-таки стала собираться, надавали мне кучу всяких книг и репродукций на выбор - все общежитие свое богатство. Целый день они были нормальными (и очень хорошими) ребятами, все были очень оживлены, все говорили о своих теперешних заботах по живописной части, а в школе посмотришь на них, и сомнение берет: неужели их еще что-то интересует? Но за одно они молодцы, наши ребята - работают, не бурно, но работают, правда, от этого у них настроение еще мрачнее: каждый считает, что у него на редкость плохо получается. ("Райсовет", тот совсем ничего не делает.) Удивляюсь, как на меня эта обстановка не действует, -

чувствую себя живым человеком, живым как никогда. Правда, настроение последние дни плохое, но ведь у нас с тобой не в почете "настроения"? Я и не обращаю на него внимания. Хорошо хоть, что нет пока общеобразовательных, можно писать дома. Тот натюрморт, который поставил мне Акиндин Петрович, уже в основном кончила, так как писала его каждый день и, бывало, по 5-ти часов подряд. Сейчас хочу заполучить его на часок посмотреть, а пока, чтоб не терять времени, начала этюд с другого места и только верхний "этаж". Фоном служит расписанная всеми цветами радуги простыня, которую Милка Адамович выставляла в качестве национального костюма краснокожих. Написать такой натюрморт, очевидно, невозможно, но это меня не останавливает - зато хорошенько попотею над палитрой. Между двумя натюрмортами взялась, наконец, за мамин портрет, теперь он мне гораздо больше нравится и продолжать я его буду теперь значительно охотней. Теперь о классной работе. Постановка, наконец, поставлена почти без Вас.Вас. (он утвердил), получилось очень красиво. На нашу модель Вас.Вас. поставил по выбору - самых тонких "цветовиков". Я очень рада, что пишу именно тут, не из-за чести называться "цветовичкой", а из-за самой природы. В данный момент размещение у нас такое (это Вас.Вас. сам расставил) на натюрморте: Кира Бахтеева, Натка Сапожникова, Олег Буткевич, Женьки: Ануфриев, Андреев и Лобанов, Райка и Чибисов, да еще Захаркин. На постановке (не нашей, другой, с более открытым цветом): Витя Иванов, Галя Зобнина, Юра Стручков, Саша Фомкин, Меренко, Бирюков, На нашей: Надя Усачева, Верка, я, Нинка Жердь, Сашка Суханов, Тамара Осипова (ты отчего ей билетик не прислал), Колька Терещенко, Сидоров. Очень много времени ушло зря, неизвестно, на что, никак не могли поставить, никак не могли разом принести холсты, так все и сидели на угольках да на бумаге, я одна из первых

начала рисовать на холсте. Помучилась четыре часа и решила на следующий раз начать красками, уж очень невтерпеж. Сегодня начала. Того, что хотела, не вышло, но мне кажется, что я добьюсь обязательно, потому что знаю, как должно быть, а как это сделать - поищу. Только жаль, что Вас.Вас. причепился ко мне сегодня с рисунком, все равно я углем лучше не нарисую, уж сколько билась и на бумаге, и на холсте, да уж нудно это для меня очень, я уж лучше в "ходе работы" нарисовать постараюсь, тем паче, что натура совсем не стоит. И если Вас.Вас. говорит мне, что у нее, мол, это плечо ниже, а то выше, то это еще не значит, что я неправильно нарисовала, а только то, что минуту назад она стояла действительно так.

С девчонками из-за природы происходят истерики и они никак не могут решиться остановиться на каком-нибудь положении, тем паче начать красками.

Пусь, теперь я окончательно выяснила, что из 4-х моих работ, взятых в метфонд - 2 рисунка, и что тот мой этюд, с Галей у печки, украден бесповоротно. Не знаю, что больше жалеть: подрамок или работу. Кажется, склоняюсь на сторону первого. Впрочем, сейчас я стала обеспечивать себя этим пособием не на шутку. Во-первых, распилила твой "огромный" длинный подрамок и сделала из него два, вставила в разрезанные места добавочные планки. Получилось два новых. На продолговатом я пишу классный этюд, а второй, квадратный, ждет подходящего случая. Скоро наброшусь на второй твой холст, тоже сделаю два, но пока на нем висит фон для натюрморта, и только это его и спасает. Днем и ночью мне мерещится моя бабушка - будущая натура. У меня даже мысли особого рода пошли: перебираю всех своих знакомых, преимущественно девчушек, и выуживаю наиболее благодатные для письма. Жалко только, что все это приходится откладывать до Москвы. А как мы о Москве мечтаем! С каким восторженным трепетом я думаю о своей Московской

комнатке, а главное, о тех благах, которые она сулит в смысле живописи (ведь с натурой в Москве затруднений не предвидится). У меня уже зачислены в штат, на случай переезда в Москву, даже товарищи по живописи - Сашка Суханов и Женя Ануфриев. Мы уже решили, что им будет можно писать у меня, при общей натуре, а то они мне рассказывали, что у них дома делается, так я после этого чувствовала себя чем-то вроде преступницы и несколько дней думала о несправедливости судьбы, допускающей, чтобы таким дельным ребятам негде было работать, а такой свинье, какой я тогда была, подставляются апельсины и прочие блага... А сегодня мы с мамой стали вспоминать книжные богатства твоей мастерской, так у меня просто дух захватило... Единственное, что отвлекает мои мысли от Москвы, так это... подрамники, сделанные, и те, которые будут в ближайшее время делаться. Мне нужно их записать, а там и в Москву не прочь... Сейчас над нами нависло жуткое молчание, даже сплетни и слухи беспомощно опустили крылышки, все равно им уже перестали верить, а то пришлось бы заодно поверить, что мы уже давно в Москве, а этого никто не хочет признавать. Пиши. Целую. Ляля.

14.3.43г. Воскресенское.

Милый пусь!

Хочу рассказать тебе о том, что делала последние дни. Да, вчера мы получили твои три телеграммы. Мама решила, что если школа не уедет до распутицы, пуститься в путешествие самим, иначе можно застрять надолго. Пусь, а если мы попадем в Москву хотя бы к концу апреля - ведь у меня будут почти полгода для работы перед институтом! И у меня аж внутри все дрожит, когда я читаю в твоих письмах наши будущие планы, о работе в твоей мастерской с одной натурой. Неужели когда-нибудь настанет такое неземное блаженство?! А пока что я робко и со страхом взираю вперед, и сколько ни "взираю", никакой природы впереди не

светится, полнейший мрак и неизвестность. Я уже писала тебе, что Акиндин Петрович поставил нам новый натюрморт, и я начала его писать на большущем квадратном холсте. Писала я, писала и почувствовала, что совсем с ним запуталась, дальше вроде некуда. И еще. Не могла я с девчонками писать (писали Райка и Надя), они все время болтают, так я больше думаю о том, когда же они, наконец, уйдут, а натюрморт уже и в голову не лезет. Ну и, конечно, размер. Предметы получились больше натурального. И по цвету как-то очень заморенно. Когда пишу, то чувствую, что отдельные куски красиво написаны и вижу только эти красивые отношения, а на другой день посмотришь в начале работы на весь натюрморт и заскучаешь: куда что девалось, общая скука совершенно съедает красивые куски, нужно очень долго смотреть, пока они выйдут на первый план. Под конец я совершенно охладела к этой работе и писала больше для успокоения совести. Зато начала на другом большом холсте Лорку, и тут уж - по-настоящему вгрызлась в работу, и не было конца моему горю, когда Лорка заболела и сеансы пришлось прекратить в самом начале. Теперь главное: вчера был Акиндин Петрович, смотрел наши работы. Долго он сидел молча, вникал в мой натюрморт, а потом сказал мне правду: не скомпонован, холст явно велик, фон задавил все остальное, много неточностей в рисунке и т.д. Для "совета" годится, есть места хорошо написанные, но если придираешься строго и писать для себя, то работа не удалась. Он, конечно, говорил значительно мягче и гораздо больше хвалил, но ведь я все понимаю. Райку и Надю он еще сильнее ругал за рисунок, но скомпоновалось у них не в пример лучше, и холстинки были маленькие, симпатичные, да и по цвету было гораздо живей, хоть и безалаберно порядком. Раюшка идет полным ходом вперед и если б не отсутствие рисунка в живописи и не сине-зеленая гамма во всех работах, было бы совсем хорошо. Правда, зелени у нее становится все

меньше и меньше, и если б то же самое не происходило с ее красками и у нее была бы возможность писать дальше - она скоро и вовсе перестала б зеленить. Но теперь краски у нее кончились, и она даже не сможет закончить натюрморт. Я еле удерживаю себя от благодарностей, так мне бывает жалко несчастных, у которых кончились краски. Но их теперь так много, что никаких запасов не хватит, да у меня их и нет, дописываю последние. До отъезда, впрочем, хватит, а дальше уповаю на тебя и на Москву. Мама не хочет взять твои и мои этюдики, мольберт, твои краски и мои работы, говорит, чтобы я оставила их Жене Ануфриеву и еще кому-нибудь из моих приятелей, а они их привезут, когда приедет школа. Я пробовала возражать, но тщетно - мама всегда бывает права. Да, закончить про визит Акиндина Петровича. Я уже совсем скисла и досадовала только на то, что нельзя провалиться сквозь землю, тут мама сказала, чтобы я показала ему Лорин портрет. Ну, пришлось его вытащить на свет божий. Он смотрел-смотрел и говорит вдруг: "Э, да бросьте вы эти натюрморты, не мучьте вы себя, пишите

людей, ведь вы же прекрасно справляетесь с портретами, что же вам еще". И пошел, и пошел - сразу из такой ямы, да на такую высоту - у меня аж дух замер от такого головокружительного перемещения. Теперь я осмелилась показать еще и Женину голову. Он опять долго смотрел и опять закатил мне дифирамб, даже сказал, что "Женя" лучше, чем "Лорка". Лучше в смысле передачи характеристики и законченности, А когда он узнал, что я очень долго работала над этим маленьким холстиком, то и вовсе пришел в восторг - это-де увеличивает его ценность.

Я понимаю, почему ему больше понравился "Женя": там одна почти голова, никакой бутафории, никаких заманчивых цветковых нагромождений. Все внимание исключительно на лицо, писала долго, Женя придирался к каждому пустяку (ох, какое ему спасибо!), и у меня уж там все точно выверено. А Лорку я только начала. Холст большой, портрет сидячий, поколенный, я старалась быстрее все замазать. Целую. Ляля.



А. Суханов. Мост через Чечеру.

## Мероприятия

*“Как жемчуг на серебряную нить, хотелось бы нанизать глубокие мысли, зовущее слово, вдохновенные образы безбрежного мира общечеловеческой культуры, чтобы*



*создать основу и дать толчок для нескончаемой работы души в светлом пространстве Истины, Добра и красоты”.*

Эти слова были сказаны С.В. Виноградовой. И начинать мы решили немедленно, с этого юного и нежного возраста, ищущего, пытливого и сомневающегося; и на их суд и их внимание была представлена в этом учебном году авторская программа



Заслуженного деятеля искусств России  
лектора-музыковеда *Светланы*  
*Викторовны Виноградовой.*





Работая над циклом лекций-конcertов “Человек идет за солнцем”, автор ориентировался на творческих детей, будущих художников, и на практические досуговые потребности лица.

Состав исполнителей был подобран из лучших солистов Московской государственной филармонии. Нашими гостями в этом году были: Народный артист России, профессор, известный миру виолончелист *В. Тонха*; Заслуженный артист России *А. Стивак* (фортепиано); лауреаты международных конкурсов *Г. Казарян* (скрипка) и *М. Рубинштейн* (флейта); солистка ансамбля старинной музыки “Мадригал”, лауреат



всероссийского конкурса *Г. Мурадова* (меццо-сопрано); *В. Лазерсон* (аутентичные инструменты) и др.

Наши дети слышали о героях античных мифов Орфее и Прометее (по трагедии Эсхила “Прикованный Прометей”), о Дидоне и Энее (по поэме Публия Вергилия Марона), узнали, как растили детей на Руси в старину, и особенной популярностью у детей пользовался концерт “Король Артур и рыцари Круглого стола”.

2 апреля прошел интересный концерт в память С.В. Рахманинова. С. Виноградова познакомила детей с судьбой композитора, с его славой и одиночеством. В зале звучала симфония Рахманинова.

Кроме активной концертной деятельности, в этом учебном году проводились турниры, конкурсы, предметные недели, фестиваль ледовых скульптур “Ледовая фантазия”, прекрасный турнир любителей поэзии, где звучали авторские стихи, поэзия



## Мероприятия

А. Блока, В. Маяковского, А. Ахматовой, С. Есенина, А. Пушкина и др. авторов.

Хотелось, чтоб жизнь детей была интересной и разнообразной.

С. Вивекананда говорил: *“О чем ты мыслишь, тем ты и становишься”*. Когда в порядке внутренний мир ребенка, то там есть все: поэзия, музыка, краски, свет, “преданья старины глубокой”, и он страдает, когда нужно “выйти” и покинуть эту красоту. В то же время, другие, ничего не сделавшие для наполнения своего мира светлыми духами, думают только о том, чтобы пойти куда-либо развлечься.

Для многих ребят и будни и праздники в лицее прошли (или состоялись) не для того, чтобы потребить свою порцию удовольствия, а чтобы участвовать в воплощении своего и нашего Будущего.

*Педагог-организатор внеклассной и внешкольной работы*

**Нарвская Анна Алексеевна.**





*Кирилл Киселев*



*Даниил Ананов*



*Вера Улановская*



*Никита Фекун*



**МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ**

117049; Москва, Крымский вал дом 8, корпус 2 (095) 230-34-36, 238-21-00  
09.03.2000г.

**ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ ЦЕРЕТЕЛИ З.К.**

В рамках празднования 60-летия Московского академического художественного лицея Российской академии художеств (бывшей Московской средней художественной школы) в музейно-выставочном комплексе лицея прошел ряд выставок, посвященных юбилею.

Среди них особое место принадлежит персональной экспозиции работ выпускника 1952 года, а ныне действительного члена Российской академии художеств Алексея Дементьевича Шмаринова.

Мы благодарны Алексею Дементьевичу за то, что он горячо откликнулся на наше предложение провести в выставочных залах лицея его персональную выставку, включив в неё не только работы, принесшие ему заслуженную известность как в нашей стране, так и за её пределами, но также работы, выполненные в годы учебы в школе и институте.

По своему содержанию, а также благодаря высочайшему качеству представленных работ выставка А.Д. Шмаринова стала кульминацией нашего юбилейного выставочного сезона.

Большое впечатление на учащихся лицея произвели личные встречи с Алексеем Дементьевичем, на которых он возле своих работ делился мыслями об искусстве, рассказывал о своём творческом пути, отвечал на многочисленные вопросы ребят.

Мы гордимся тем, что идея проведения подобной поистине беспрецедентной выставки, когда признанный мастер показывает весь свой творческий путь, начиная со школьной скамьи, получила своё воплощение в залах нашего лицея.

Художественный Совет лицея выражает благодарность А.Д. Шмаринову за переданные им в дар лицейу 21 рисунок и 1 живописную работу, созданные в период обучения. Эти работы стали украшением нашего "золотого фонда". Выполненные на высочайшем академическом уровне, они будут служить образцом для подражания многим поколениям лицеистов.

Администрация, учебно-методический и художественный Советы Московского академического художественного лицея Российской академии художеств обращаются в Президиум Российской академии художеств с просьбой отметить большой вклад академика А.Д. Шмаринова в осуществление учебно-воспитательного процесса, поддержание в лицее духа творчества и устремленности к высоким идеалам национальной художественной культуры.

Директор МАХЛ РАХ - Куник Г.Т.

Заместители директора по УВР:

Общеобразовательный цикл - Герцовская В.Н.

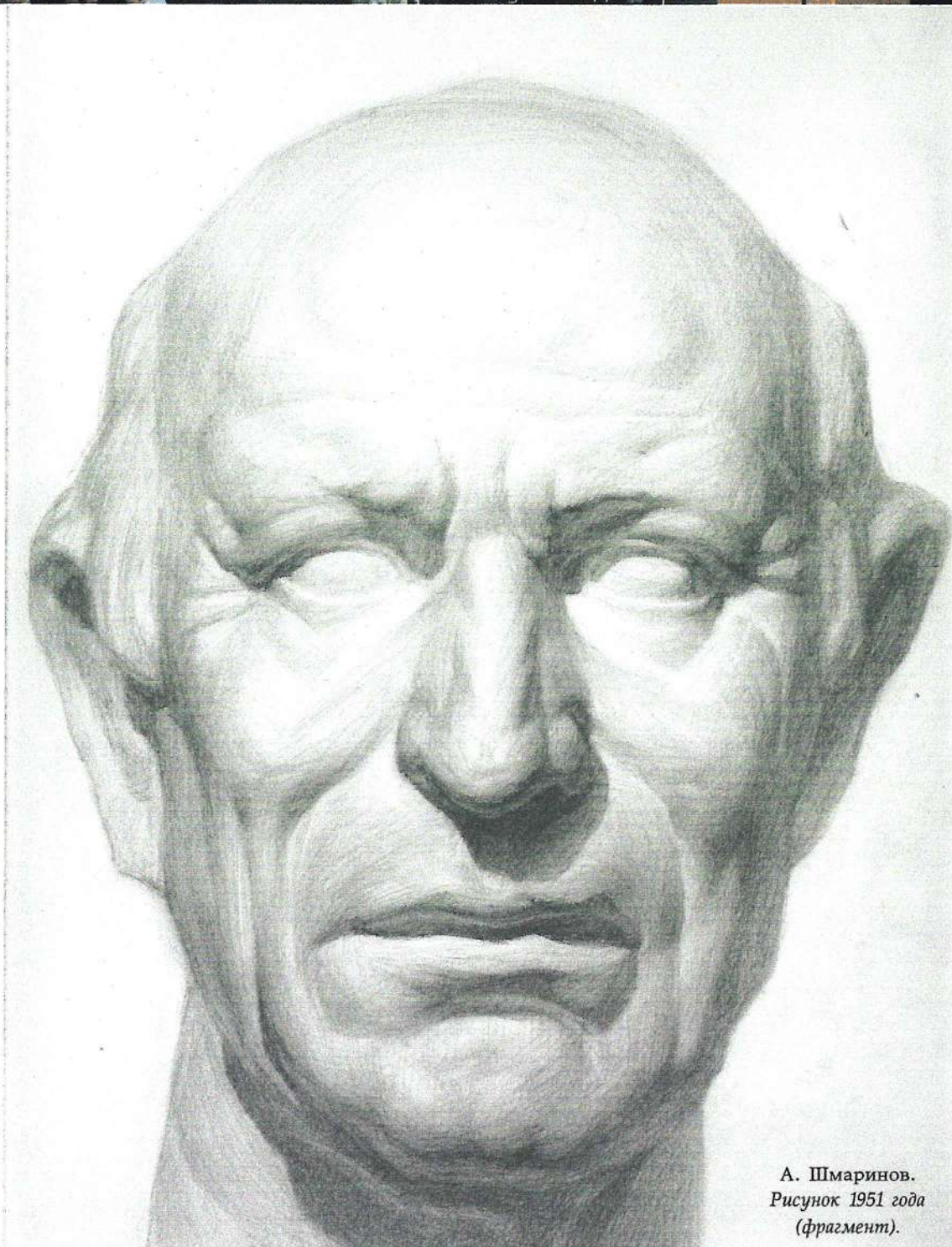
Специальные предметы – Смирнов А.Е.





Первое сентября в МАХЛ РАХ

Слово академика А.Д. Шмаринова к юным лицеистам



А. Шмаринов.  
Рисунок 1951 года  
(фрагмент).



А. Шмаритов.  
Рисунок 1952 года  
(фрагмент).



# Содержание



## Звезды

Л.С. Котляров. <i>Игорь Годин</i> .....	2
--	---



## Уздалека

Х.А. Аврутис. <i>Записки о школе</i> .....	11
---	----



## Спецкурс

В.А. Иванов. <i>Аналитическая композиция.</i> АТОЛЛ .....	37
--	----



## Хроника 1992-93

Письма Ляли Шегаль .....	40
--------------------------	----



## Мероприятия

А.А. Нарвская. <i>Фото и комментарии</i> .....	54
---	----



## Награды

Золото Академии .....	57
-----------------------	----



## Юбилей

А.Д. Шмаринов .....	58
---------------------	----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ

Азарова М.В., Гантимурова Г.А.,

Иванов В.А. (гл. редактор),

Киреева О.Н., Козина Е.Н.